

5999

5999  
Первая  
русская  
револю-  
ция

АРХИВЪ

Б  
И-90<sub>2</sub>

Инд. 17398.

ЦЕНТРАЛЬНА  
РАБОТНА БИБЛИОТЕКА  
О. Г. С. П. С.

Т. Т. ЧИЛІЯГЕЛІ:  
Значіння книги призначено в по-  
рядку іншої роботи з призначенням не-  
відповідно до способу з'ясування не-  
визначеного способу з'ясування не-  
визначеного способу з'ясування не-

В ПОМОЩЬ ШКОЛЕ

ИСТОРИЯ РЕВОЛЮЦИЙ  
В ОТРАЖЕНИИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ  
ЛИТЕРАТУРЫ

ПЕРВАЯ  
РУССКАЯ  
РЕВОЛЮЦИЯ



ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«ПРОЛЕТАРИЙ»

В ПОМОЩЬ ШКОЛЕ

# ИСТОРИЯ РЕВОЛЮЦИЙ

В ОТРАЖЕНИИ ХУДОЖЕ-  
СТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ПОД РЕДАКЦИЕЙ И. С. РАБИНОВИЧА

ЮНОШЕСКИЙ СЕКТОР  
ИЗДАТЕЛЬСТВА „ПРОЛЕТАРИЙ“

1925

2002

84(4100)я4 РС  
П26

Бібліотека  
Станіславського  
Учительського інституту  
№ ~~1009~~ пер.

И-90<sub>2</sub>

# ПЕРВАЯ РУССКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

КНИГА ВТОРАЯ

\* = 5 ДЕК 1941

0690  
5657

ЦЕНТРАЛЬНИЙ  
РАБОЧИЙ БИБЛИОТЕКА  
Г. С. П. С.

ЛМ 359  
КНИГОСХО...  
Д. О. Б.

Умб 17398

1.20  
О. Д. О. В.  
им. Ленина  
ПЕРЕИНВЕНТАРИЗАЦИЯ  
1937 г.  
№ ~~79828~~

ИБ ПНУС  
  
5999

Напечатано в 1-й Гостиполит.  
«Крымполиграфтреста» в колич.  
10.000 экземпляров. Зак. № 3104.  
Крымлит № 2358.

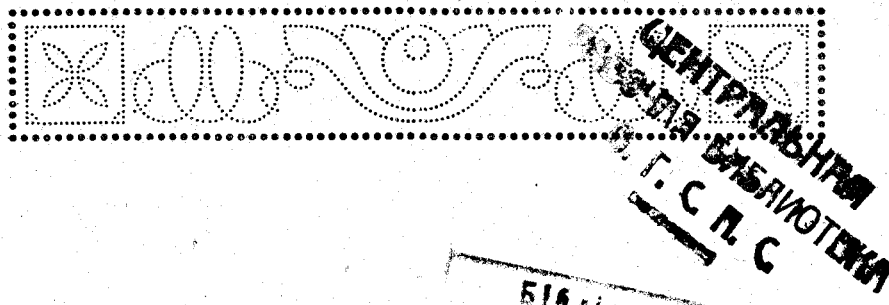
8083

ЦЕНТРАЛЬНАЯ  
РАБОЧАЯ БИБЛИОТЕКА  
О. Г. С. П. С

„Мы должны заявить открыто и во всеуслышание, в поучение колеблющихся и падающих духом, в посрамление ренегатствующих и отходящих от социализма, что рабочая партия видит в непосредственно-революционной борьбе масс, в октябрьской и декабрьской борьбе 1905 года величайшие движения пролетариата после Коммуны, что только в развитии таких форм борьбы лежит залог грядущих успехов революции, что эти образцы борьбы должны служить нам маяком в деле воспитания новых поколений борцов“.

В. Ленин. „К оценке русской революции“.





БИБЛИОТЕКА  
СТАНИСЛАВ

## ПРЕДИСЛОВИЕ

Значение русской революции 1905 года в истории мировых революционных бурь огромно и исключительно.

Революция „пятого года“—первое в России массовое движение, в котором пролетариат явился основной силой, играл первенствующую роль. В 1905 году весь миллионный пролетариат России впервые вступил на путь революционного творчества: великая Октябрьская забастовка, охватившая свыше 120 городов и остановившая жизнь всей необъятной страны,—была могучим уроком классовой борьбы. Владимир Ильич Ленин писал об Октябрьской забастовке: „Перед нами одно из великих столкновений формирующегося класса пролетария с его врагами,—столкновение, которое оставляет свои следы на долгие годы“ („Вперед“ от 24 ноября 1905 г.).

Революция 1905 года в значительной степени подготовила победу 1917 года. Достаточно указать на то, что идея советов, основная идея нашей революции, родилась в 1905 году. Трудящимся России осталось только расширить идею советов, углубить ее, найти исторически верную ее формулировку в лозунге „вся власть Советам“, чтобы она стала залогом победы.

Революция 1905 года является единственным, на протяжении почти сорока лет протеста со дня падения Парижской Коммуны, выступлением рабочего класса такого колоссального размера. Вот почему мы говорим, что значение первой русской революции огромно и исключительно в истории великой международной борьбы рабочего класса, вот почему изучать историю первой русской революции необходимо для каждого сознательного сына своего класса, вот почему историк М. Покровский

пишет: „Пятый год обязательно знать не только каждому сознательному европейскому рабочему, но и каждому крестьянину. А особенно обязательно ее знать нашему подрастающему поколению“.

Но чтобы у молодежи создалось яркое представление об историческом процессе большой сложности, не подлежащем ее непосредственному наблюдению, необходимо, чтобы к фактам, сообщаемым историком, прибавился образ, созданный художником, ибо язык художественных образов особенно близок и понятен молодежи.

Таким прибавлением к историческому материалу при изучении первой русской революции может стать настоящая книга. Мы надеемся, что эти художественные страницы помогут нашей молодежи вскрыть истинную природу законов революции, сделает ясным для нее, почему Октябрь-поражения 1905 года уступил место Октябрю-победы 1917 года, как Российский Октябрь неизбежно приведет к Октябрю мировому.

*И. РАБИНОВИЧ.*





МАКСИМ ГОРЬКИЙ

## ДЕВЯТОЕ ЯНВАРЯ 1905 ГОДА



олпа напоминала осенний темный вал океана, едва разбуженный первым порывом бури; она текла вперед медленно; серые лица людей были подобны мутно-пенному гребню волны.

Глаза блестели возбужденно, но люди смотрели друг на друга, точно не веря своему решению, удивляясь сами себе. Слова кружились над толпой, как маленькие серые птицы.

Говорили не громко, серьезно, как-бы оправдываясь друг перед другом.

— Нет больше возможности терпеть, вот почему пошли...

— Без причины народ не тронется...

— Разве „он“\*) это не поймет?..

Больше всего говорили о „нем“, убеждали друг друга, что „он“—добрый, сердечный и—поймет, все поймет. Но в словах, которыми рисовали его образ, не было красок. Чувствовалось, что о „нем“ никогда не думали серьезно, не представляли его себе живым, реальным лицом и даже плохо понимали, зачем „он“ и что может сделать. Но сегодня „он“ был нужен, все торопились понять его и, не зная того, который существовал в действительности, невольно создавали в воображении своем нечто огромное. Велики были надежды и требовали великого для опоры своей.

Порою в толпе раздавался дерзкий человеческий голос:

— Товарищи! Не обманывайте сами себя...

Но самообман был необходим, и голос человека заглушался пугливыми и раздраженными всплесками криков толпы.

\*) Т. е. Николай II.

- Мы желаем открыто!..
- Ты, брат, молчи!
- К тому же отец Гапон!..
- Он знает, как надо!..

Лица у толпы еще не было, было только неясное очертание чего-то широкого, расплывчатого, мягкого. Взволнованное, оно нерешительно плескалось в канале узкой улицы, разбиваясь на отдельные группы; сливалось густой толпой, гудело, споря и рассуждая, толкалось о стены домов и снова заливало середину улицы темной, жидкой массой; в ней чувствовалось смутное брожение сомнений, было ясно видно напряженное ожидание чего-то всем нужного, что осветило бы путь к цели верою в успех и этой верой связало, сплывило все куски в одно крепкое стройное тело.

День был такой же пестрый, как настроение толпы. На небе, между серых облаков, являлось солнце, освещало лица холодным блеском и исчезало вновь, покрывая их одноцветной тенью неуверенности.

Переливаясь из улицы в улицу, масса людей быстро росла, и этот рост внешний постепенно вызывал ощущение внутреннего роста, будил сознание права народа-раба просить у власти внимания к своей нужде.

- Мы тоже люди, как-никак...
- „Он“, чай, поймет,—мы просим...
- Должен понять!.. Не бунтуем!..
- Опять же отец Гапон...
- Товарищи! Свободу не просят...
- Ах, господи!
- Только бы допустили нас...
- Да погоди ты, брат!..
- Гоните его прочь, дьявола!..
- Отец Гапон лучше знает, как...

Лица загорались, глаза сверкали ярче, ускорился шаг, быстрота движения тела еще больше волновала душу. Все увеличивалась масса толпы, на улице стало теплее, голоса звучали с большей силой.

— Не надо нам красных флагов!—кричал лысый человек. Размахивая шапкой, он шел во главе толпы, и его голый череп тускло блестел, качался в глазах людей, притягивая к себе их внимание.

— Мы к отцу идем!..

— Так!

— Верим ему!

— Не даст в обиду!

— Красный цвет—цвет нашей крови, товарищи!—упрямо звучал над толпой одинокий, звонкий голос.

— Нет силы, которая освободит народ, кроме силы самого народа!

Толпа, опьяняясь своим настроением, обрадованная тем, что, наконец, пришло оно и крепко обняло ее, ворчала:

— Не надо!..

— „Он“ поймет...

— Вот человек, ах ты!..

— Ежели до него допустят...

— Смутьяны, черти!..

— Отец Гапон—с крестом, и он—с флагом!

— Молодой еще, но тоже, чтобы командовать!..

→ Мы желаем мирно.

Наименее уверовавшие шли в глубине толпы и оттуда раздраженно и тревожно кричали:

— Гони его с флагом!..

Когда толпа вылилась из улицы на берег реки к Троицкому мосту и увидела перед собой длинную, ломаную линию солдат, преграждавшую ей путь на мост,—людей не остановила эта тонкая серая изгородь. В фигурах солдат, четко обрисованных на голубовато-светлом фоне широкой реки, не было ничего угрожающего, они подпрыгивали, согревая озябшие ноги махали руками, толкали друг друга. Впереди, за рекой, люди видели темный дом,—там ждал их „он“, хозяин дома. Великий и сильный, добрый и любящий, он не мог, конечно, приказать своим солдатам, чтобы они не допускали до него народ, который его любит и желает мирно говорить с ним о своих нуждах.

Но все-таки на многих лицах явилась тень недоумения, и люди впереди толпы замедлили свой шаг. Иные оглянулись назад, другие отошли в сторону, все старались показать друг другу, что о солдатах они знают, это не удивляет их. Некоторые спокойно поглядывали на золотого ангела, блестящего высоко в небе над унылой крепостью, другие улыбались.

Чей-то голос, соболезнуя, произнес:

- Холодно солдатам!..
- Н-да-а!..
- А надо стоять!
- Солдаты,—для порядка!
- Спокойно, ребята!.. Смирно!..
- Иди, иди!..
- Ура, солдаты!—крикнул кто-то.

Офицер в желтом башлыке на плечах выдернул из ножен саблю и тоже что-то кричал навстречу толпе, помахивая в воздухе изогнутой полоской стали. Солдаты стали неподвижно плечо к плечу друг с другом.

— Чего это они?—спросила полная женщина.

Ей не ответили. И всем как-то вдруг стало трудно идти.

— Назад!—донесся крик офицера.

Несколько человек оглянулись—позади их стояла плотная масса тел, из улицы в нее лилась бесконечным потоком темная река людей, толпа, уступая ее напору, раздавалась, заполняя площадь перед мостом. Несколько человек вышли вперед и, взмахивая белыми платками, пошли навстречу офицеру. Шли и кричали:

— Мы к государю нашему!..

— Вполне спокойно!..

— Назад! Я прикажу стрелять!..

Когда голос офицера долетел до толпы, она ответила его словам гулким эхом удивления. О том, что не допустят до „него“, некоторые из толпы говорили и раньше, но, чтобы стали стрелять в народ, который идет к „нему“ спокойно, с верою в его силу и доброту, это нарушало цельность созданного образа. „Он“—сила выше всякой силы, и ему некого бояться, ему незачем отталкивать от себя свой народ штыками и пулями... Угроза стрелять была необъяснима, обидна...

Худой высокий человек с голодным лицом и черными глазами вдруг закричал:

— Стрелять! Не смеешь!..

И, обращаясь к толпе, громко, злобно продолжал:

— Что! Говорил я—не допустят они!..

— Кто? Солдаты?

— Не солдаты, а там!..

Он махнул рукой куда-то вдаль.

— Выше которые... Ага! Я же говорил!

— Это еще неизвестно!..

— Узнают, зачем идем,—пустят!..

Шум рос. Были слышны гневные крики, раздавались возгласы иронии. Здравый смысл разбился о нелепость преграды и молчал. Движения людей стали нервнее, суетливее, от реки веяло острым холодом. Неподвижно блестели острия штыков.

Перекидываясь восклицаниями и подчиняясь напору сзади, люди двигались вперед. Те, которые пошли с платками, свернули в сторону, исчезли в толпе. Но впереди все—мужчины, женщины, подростки—тоже махали белыми платками.

— Какая там стрельба! К чему она?—солидно говорил пожилой человек с проседью в бороде.—Просто они не пускают на мост... дескать,—идите прямо по льду...

И вдруг в воздухе что-то неровно и сухо просыпалось, дрогнуло, ударило в толпу десятками невидимых бичей. На секунду все голоса вдруг как бы замерли. Масса продолжала тихо подвигаться вперед.

— Холостыми...—не то сказал, не то спросил бесцветный голос.

Но тут и там раздавались стоны, у ног толпы легло несколько тел. Женщина, громко охая, схватилась рукой за грудь и быстрыми шагами пошла вперед, на штыки, вытянутые навстречу ей. За нею бросились еще люди и еще, охватывая ее, забегая вперед нее.

И снова треск ружейного залпа, еще более громкий, более неровный. Стоявшие у забора слышали, как дрогнули доски, точно чьи-то невидимые зубы злобно кусали их. А одна пуля хлестнулась вдоль по дереву забора и, стряхнув с него мелкие щепки, бросила их в лица людей. Люди падали по-двое, по-трое, приседали на землю, хватаясь за животы, бежали куда-то, прихрамывая, ползли по снегу, и всюду на снегу обильно вспыхнули яркие красные пятна. Они расползались, дымились, притягивая к себе глаза... Толпа поддалась назад, на миг остановилась, оцепенела, и вдруг раздался дикий, потрясающий вой сотен голосов. Он родился и потек по воздуху непрерывной, напряженно дрожащей, пестрой тучей криков острой боли, мести, ужаса, протеста, тоскливого недоумения и призывов на помощь...

Солдаты стояли неподвижно, опустив ружья к ноге, лица у них были тоже неподвижные, кожа на щеках туго натянулась, скулы остро высунулись. Казалось, что у всех солдат — белые глаза и смерзлились губы...

В толпе кто-то кричал истерически громко:

— Ошибка! Ошибка вышла, братцы!.. Не за тех приняли!.. Не верьте!.. Иди, братцы!.. Надо объяснить!.. Ах, господи!.. ведь это что же?

— Гапон — изменник! — вопил подросток-мальчик, взлезая на фонарь.

— Что, товарищи, как встречают вас?..

— Постой!.. Это ошибка!.. Не может этого быть, ты пойми! Али ты не человек?..

— Это вы не люди, вы — овцы, стадо и вот как вас!..

— Пропусти!.. Сторонись!..

— Дай дорогу раненому!..

Двое рабочих и женщина вели высокого худого человека; он был весь в снегу, из рукава его пальто стекала кровь. Лицо у него посинело, заострилось еще более, и темные губы, слабо двигаясь, прошептали:

— Я говорил... не пустят... они его скрывают, что им — народ...

— Ребята!.. Конница!

— Беги!..

Стена солдат поколебалась и растворилась, как две половины деревянных ворот; танцую и фыркая, между ними проехали лошади, раздался крик офицера, над головами конницы взвились, разрезав воздух, сабли, замахнулись все в сторону. Толпа стояла и кричала, волнуясь, ожидая, не веря.

Стало тише.

— Ма-арш! — раздался неистовый крик.

Как будто вихрь ударил в лицо людей, и земля точно обернулась кругом под их ногами, все бросились бежать, толкая и опрокидывая друг друга, кидая раненых, прыгая через трупы. Тяжелый топот лошадей настигал, солдаты выли, их лошади скакали через раненых, упавших, мертвых, сверкали сабли, порою был слышен свист стали и удар ее о кость. Крик избиваемых, сливался в гулкий и протяжный стон.

— А-а-а!..



Солдаты взмахивали саблями и опускали их на головы людей, и вслед за ударами тела их наклонялись на-бок. Лица у них были красные, безглазые и точно опухшие. Ржали лошади, страшно оскаливая зубы, взмахивая головами...

Народ загнали в улицы...

## II

...Вокруг жилища царя стояли плотной, неразрывной цепью солдаты, под окнами дворца на площади расположилась конница. Запах сена, навоза, лошадиного пота окружал дворец; ляг сабель, звон шпор, команда, топот колебался под окнами.

Со всех сторон на солдат напирала плотной массой люди, десятки тысяч возмущенных, холодно озлобленных людей. Говорили они спокойно, но как-то особенно веско, новыми словами и с новой надеждой, едва ли ясной для них. Стояла рота солдат, опираясь одним плечом о стену здания, другим—о железную решетку сада; она преграждала дорогу на площадь ко дворцу. Вплоть к ней, лицом к лицу, подошла толпа, бесчисленно большая, немая, черная.

— Расходись, господа!—вполголоса говорил фельдфебель, безуспешно стараясь спрятать обеспокоенные глаза. Он ходил вдоль фронта, отодвигая людей от солдат руками и плечом, стараясь не видеть человеческих лиц.

— Почему вы нас не пускаете?—спрашивали его.

— Куда?

— К царю!

Фельдфебель на секунду остановился и с чувством, похожим на уныние, воскликнул:

— Да я же говорю—нет его!

— Царя нет?

— Ну, да. Сказано вам нет и—ступайте!

— Совсем нет царя?—настойчиво допрашивал иронический голос.

Фельдфебель снова остановился, поднял руку.

— За такие слова... берегись!

И другим тоном объяснил:

— В городе нет его.

Из толпы ответили:

- Нигде его нет!
- Кончился!..
- Расстреляли вы его, дьяволы!
- Вы думаете—народ убиваете?
- Народ не убьешь... Его на все хватит...
- Вы царя убили... понимаете?
- Отойти, господа!.. Не разговаривай!
- Нет, врешь!.. Я поговорю.

В другом месте старичок с бородкой клином воодушевленно говорил солдатам:

— Вы—люди, мы тоже. Сейчас вы в шинелях, завтра—в кафтанах. Работать захотите, есть понадобится. Работы нет, есть нечего. Придется и вам, ребята, так же вот, как мы... Стрелять, значит, в вас надо будет? Убивать за то, что голодаете, а?

Солдатам было холодно. Они переминались с ноги на ногу, били каблуками в землю, терли уши, перебрасывая ружья из руки в руку. Слушая речи, вздыхали, двигали глазами туда и сюда, чмокая озябшими губами. На лицах, посиневших от холода, лежало что-то однообразно-унылое, растерянное, туповатое, глаза мигали, прятались. Лишь некоторые из них, прищуриваясь, как бы целились во что-то, крепко стиснув зубы, должно быть, с трудом сдерживая злобу против этой массы людей, ради которой приходится мерзнуть. От их серой, скучной линии веяло усталостью, бессилием, тоской.

Люди стояли против них грудь с грудью и, поддаваясь толчкам сзади, порою толкали солдат.

- — Тише!—негромко отзывался серый человек.

Иные брали солдат за руки, горячо говоря им что-то. Солдаты слушали мигая, лица кривились неопределенными гримасами, и нечто жалкое, робкое являлось на них.

— Не трог ружо!—сказал один из них молодому парню в мохнатой шапке. А тот тыкал солдата пальцем в грудь и говорил:

— Ты солдат, а не палач... Тебя позвали защищать Россию от врагов внешних... а заставляют расстреливать народ... Пойми! Народ—это и есть Россия.

— Мы не стреляем!—отвечал солдат.

— Гляди—вон стоит Россия, русский народ! Он желает видеть своего царя!..

Кто-то перебил речь, крикнув:

— Не желает!

— Что в том худого, что народ захотел поговорить с царем о своих делах? Ну, скажи, а?

— Не знаю я,—сказал солдат, сплевывая.

Сосед его добавил:

— Не велено нам разговаривать...

— Солдаты,—говорил плотный мужчина, с большой бородой и голубыми глазами.—Кто вы? Вы—дети русского народа. Обеднял народ, забыт он, оставлен без защиты, без работы и хлеба. Вот он пошел сегодня просить царя о помощи, а царь вам велит стрелять в него, убивать. Солдаты! Народ—отцы и братья ваши—хлопочет не только за себя, но и за вас. Вас ставят против него, против народа, толкают на отцеубийство, братоубийство. Подумайте! Разве вы не понимаете, что против себя же идете?

Этот голос, спокойный и ровный, хорошее лицо и седые волосы в бороде, весь облик человека и его простые верные слова, видимо, волновали солдат. Опуская глаза перед его взглядом, они слушали внимательно, иной, покачивая головою, вздыхал, другие хмурили брови, оглядывались, кто-то негромко посоветовал:

— Отойти! Офицер услышит!

Офицер, высокий, белобрысый немец с большими усами, медленно шел вдоль фронта и, натягивая на правую руку перчатку, сквозь зубы говорил:

— Ра-азойдись!.. Па-ашел прочь!.. Что? Па-агавари, я тебе пагаварю!..

Лицо у него было толстое, красное, глаза круглые, светлые, но без блеска. Он шел не торопясь, твердо ударяя ногами в землю, но с его проходом время полетело быстрее, точно каждая секунда торопилась исчезнуть, боясь наполниться чем-то оскорбляющим, гнусным. За ним выгибалась, невидимая линейка, ровняя фронт солдат; они подбирали животы, выпячивали груди, посматривали на носки сапог. Некоторые из них укладывали ладонями на офицера и делали сердитые гримасы. Услышавшись на фланге, офицер крикнул:

**О. Д. О. В.**  
**ПЕРЕИНВЕНТАРИЗАЦИЯ**  
Солдаты века выжили и замерли  
**1937 г.**  
История революции  
№ 79828

**ТИГОСХОВИЦЕ**

**А. О. В.**  
44350

— Приказываю разойтись! — сказал офицер и не торопясь вынул из ножен шашку.

Разойтись было физически невозможно, — толпа густо залила всю маленькую площадь, а из улицы в тыл ей все шел и шел народ.

На офицера смотрели с ненавистью, он слышал насмешки, ругательства, но стоял под их ударами твердо, неподвижно. Его взгляд мертво осматривал роту, брови чуть-чуть вздрагивали. Публика шумела, ее раздражало это спокойствие, слишком нечеловеческое, чтобы быть уместным в эти минуты. В нем чувствовалось явное презрение к людям, к народу.

— Этот скомандует!

— Мясник!..

— Он без команды готов рубить!..

— Ишь, вытащил селедку-то!..

— Эй, барин! Убивать готов?

Разрастался бурный задор, являлось чувство какой-то беззаботной и безнадежной удали, крики звучали громче, насмешки — резче.

— Эй, барин. Убивать готов?

Фельдфебель взглянул на офицера, вздрогнул, побледнел и тоже быстро вынул саблю.

Вдруг раздалось тревожное, зловещее пение рожка. Публика смотрела на горниста — он так странно надул щеки и выкатил глаза, рожок дрожал в его руке и пел слишком долго. Люди заглушили гнусавый, медный крик громким свистом, воем, визгом, возгласами проклятий, словами укоров, стонами тоскливого бессилия, криками отчаяния и удалства, вызванного ощущением возможности умереть в следующий миг и невозможности избежать смерти. Уйти от нее было некуда. Несколько темных фигур бросились на землю и прижались к ней, иные закрывали руками лица, а человек с большой бородой распахнул на груди пальто и стоял впереди всех, глядя на солдат голубыми глазами, и говорил, все говорил им что-то, неслышное, утопавшее в хаосе криков.

Солдаты взмахнули ружьями, взяв на прицел, и все оледенели в однообразной, сторожкой позе, вытянув к толпе штыки.

Было видно, что линия штыков висела в воздухе неспокойно, неровно — одни слишком поднялись вверх, другие

наклонились вниз, лишь немногие смотрели прямо в груди людей, и все они казались мягкими, дрожали и точно таяли.

Чей-то голос громко, с ужасом и отвращением крикнул:  
— Что вы делаете? Убийцы!

Штыки сильно и неровно дрогнули, испуганно сорвался залп, люди покачнулись назад, отброшенные звуком, ударами пуль, падением мертвых и раненых. Некоторые стали молча прыгать через решетку сада.

Брызнул еще залп... И еще.

Мальчик, застигнутый пулею на решетке сада, вдруг пергнулся и повис на ней кверху ногами. Высокая, стройная женщина с пышными волосами тихо ахнула и мягко упала около него.

— Проклятые! — крикнул кто-то.

Толпа угрюмо и медленно подвигалась вперед, убирая мертвых и раненых. Несколько человек стало рядом с тем, который говорил солдатам, и тоже, перебивая его речь, кричали, уговаривали, упрекали, беззлобно, с тоской и состраданием. В голосах все еще звучала наивная вера в победу правдивого слова, желание доказать бессмыслие и безумие жестокости, внушить сознание тягостной ошибки. Старались и хотели заставить солдат понять позор и гадость их невольной роли...

Офицер вынул из чехла револьвер, внимательно осмотрел его и пошел к этой группе людей. Она сторонилась от него не спеша, как сторонятся от камня, который не быстро катится с горы. Голубоглазый, бородатый человек не двигался, встречая офицера словами горячей укоризны, широким жестом указывая на кровь вокруг.

— Чем это оправдать? Подумайте! Нет оправдания!

Офицер встал перед ним, озабоченно насупил брови, вытянул руку. Выстрела не было слышно, был виден дым, он окружил руку убийцы раз, два, три. После третьего раза человек согнул ноги, запрокинулся назад, взмахивая правой рукой, и упал. К убийце бросились со всех сторон, — он, отступая, совал ко всем свой револьвер... Какой-то подросток упал под ноги ему, он его ткнул шашкой в живот... Кричал ревушим голосом, прыгал во все стороны, как упрямая лошадь. Кто-то бросил ему шапкой в лицо, бросали комьями окровавленного снега.

К нему подбежали фельдфебель и несколько солдат, выставив вперед штыки, тогда нападавшие разбежались. Победитель грозил саблей вслед им, а потом вдруг опустил ее и еще раз воткнул в тело подростка, ползавшего у его ног, теряя кровь.

И снова гнусаво запел рожок. Люди быстро очищали площадь перед этим звуком, а он тонко извивался в воздухе и точно дочерчивал пустые глаза солдат, храбрость офицера, его красную на конце шашку, растрепавшиеся усы.

Живой, красный цвет крови раздражал глаза и притягивал их к себе, возбуждая хмельное и злобное желание видеть его больше, видеть всюду. Солдаты как-то насторожились, двигали шеями и, кажется, искали глазами еще живых целей для своих пуль...

Офицер стоял на фланге и, взмахивая шашкой, что-то кричал, отрывисто, гневно, дико...

С разных концов в ответ ему неслись крики:

— Палач!

— Мерзавец!





С. КОНДУРУШКИН

## В ГУБЕРНСКОМ ГОРОДЕ

### I



абастовали железнодорожные служащие, приказчики, извозчики, шапочные мастера, булочники, банщики, типографщики, портные... По ночам на улицах темно и жутко. Днем еще страшнее: весь город точно вымер и лежит, как труп. Почти все окна домов закрыты; открытые смотрят тускло, точно не успевшие сомкнуться глаза мертвеца. Редкие прохожие жмутся к заборам и домам и боязливо оглядываются. Собаки лают под воротами, просовывая на улицу свои озлобленные морды.

И какой слабый теперь этот город, еще недавно такой гордый, богатый, многолюдный, сверкающий огнями! Великолепные дома, магазины, театры, правительственные учреждения, знатные, богатые люди,—все это испугалось, съежилось. Город поджал свое голодное брюхо, точно волк, и завыл, застонал, наполнился ужасом за завтрашний день. Кого же он испугался? Ничтожных, презренных сапожников, кондукторов, разных мастеровых... Вчерашние рабы стали повелителями, а вчерашние повелители со страхом почувствовали, как призрачна и ничтожна их власть.

Железная дорога пустынна, занесена снегом. Точно пустое село, стоят длинные улицы из вагонов. Застыли паровозы; погасло электричество; не действует телеграф и телефон. Город отрезан от всего мира. И это чувство непривычного одиночества в особенности пугает. Что делается там, кругом, по всей России? Может быть, там уже встает и несется на нас кровавая волна и не сегодня, завтра захлестнет и наш город, который стал таким жалким и слабым, точно новорожденный ребенок.



На улицах тихо, но в воздухе точно перед грозой. Где-то действуют невидимые комитеты стачечный и революционный, печатают воззвания и тысячами листовок распространяют всюду. А грозное начальство куда-то спряталось и молчит.

Погас второй день забастовки. Над городом опустилась звездная ночь.

## II

В три часа ночи чиновник для поручений при губернаторе, Петр Николаевич Кропотов, вскочил с постели. Кто-то сильно стучался в ставень. С тревогой в сердце вышел он на крыльцо, выходящее во двор, и спросил:

— Кто там?

За воротами на улице слышался разговор и смех.

— Кто там?—закричал он громче.

— Здесь, что-ли, живет чиновник Кропотов?

— Здесь. А вам что?

— Так вот его и нужно. Его превосходительство просят. Там разные генералы собрались...

— Что случилось?

— Неизвестно...

— А кто это здесь?

— Я, вестовой Пахом. А со мной швейцар, Иван Петрович. Я, вишь, квартиру-то вашблародия не знаю, так его и прихватил. Лошадка у нас здесь; поедемте.

Кропотов наскоро оделся и не умывшись вышел на крыльцо. Ночь была морозная, небо ясное и горело звездами. В городе тихо. Только изредка вдалеке торопливо застучат.

В передней у губернатора затоптано и вся стена завешана шубами, шинелями. Калоши лежат в беспорядке, точно собирались при первой же тревоге разбежаться в разные стороны. Из гостиной доносится смешанный гул голосов. Пахнет табаком и нафталином.

В гостиной толпится человек пятнадцать. Все нещадно курят и нервно, беспорядочно переходят с места на место. И толкотня эта похожа на то, когда артисты на сцене избражают толпу народа в движении: ходят взад и вперед, кружатся, машут руками, а видно, что все это без толку.

Около двери стоят трое: полицеймейстер, начальник жандармского управления и начальник юнкерского училища. Полицеймейстер какой-то пухлый, точно весь состоит из равной величины сшитых между собою подушек; губы и щеки у него толстые, шишками, будто накусаны мухами, и рачьи глаза. Он смотрит со злобой на начальника жандармского управления, желтого вялого старика с мешками под глазами, бьет по воздуху пухлым кулаком и говорит:

— Нет, я вас спрашиваю, что это еще за слово такое—митинг?... У нас, говорят, сегодня был митинг и мы постановили... Подлецы! И что это за слово, я вас спрашиваю? От чего оно происходит? Должно быть, от слова Митька...

Полицеймейстер смеется, довольный шуткой.

— По моему, — поддержал начальник жандармов, — это не от Митьки, а от слова титька, потому что там больше мальчишки орудуют, так их надо еще титькой кормить.

Все смеются. Начальник юнкерского училища, маленький старичек с седой кошачьей головой и спрятавшимися под седыми бровями глазами, от себя тоже сострил:

— Это — от мордобитья. По морде их, сукиных сынов, бить надо... Да что — по морде! Этого мало. Стрелять надо! Долго с ними церемонились, вот и дождались, дали волю... Я бы теперь поставил на Большой улице пушку, да два — три пулемета, шарахнул бы в толпу, да сказал бы: вот вам митинг, сволочи, вот вам и забастовка, погань вы эдакая!..

Он то хватает костлявыми пальцами воздух, то складывает их в колючий кулачек и бьет воображаемого врага, то поднимает брови на лоб и открывает глаза, то опускает их на щеки и тогда, казалось, готов броситься на этого врага и разорвать его старческими зубами. Переживая в душе радость пушечного возмездия, он багровеет и, поглаживая себя по бокам руками, издает звуки удовольствия, точно лежит в бане на полке и парится.

— Га-га-ха-ха! Вот бы хорошо...

— А по моему, — говорит начальник жандармов, — и этого не нужно. По моему, так. Ты недоволен властями, сам хочешь власти попробовать? Чудесно... Я бы его сейчас министром, али сенатором сделал. На, вот, управляй... а мы посмотрим... как ты... нам сахарные горы дашь, да молочные реки пустишь... Управляй...

При этом чуть не к каждому слову старик приставляет скверные ругательства.

Начальник юнкеров смеется коротким смешком, похожим на ржанье лошади, когда она видит хозяина, приближающегося к ней с овсом: коротко так, брюхом, и говорит:

— Ну, нет! Церемонились, будет. Посади свинью за стол, так она и ноги на стол. А по моему, вздернуть его, каналью, чтобы у него холка хрустнула, да язык бы с поларшина выпялился. А то мини-и-стром... Много чести...

— Вы про кого это разговариваете? Кого повесить?— спрашивает вошедший чиновник для поручений при губернаторе.

Все трое смотрят на него недружелюбно, точно он сказал что-нибудь обидное. Полицеймейстер отходит к другим, начальник юнкеров хлопнул бровями и буркнул:

— Про кого... Про бунтовщиков, вот про кого.

— Да где они, кто?..

— Как где?.. Здесь у нас в городе, по' всей России!... Да вы откуда, с луны, что ли, приехали?..

Старик с раздражением отходит в сторону.

В другом конце гостиной какой-то капитан выкрикивает:

— Это все жиды пархатые наделали! Все жиды! Дай им волю, так они сейчас на престол Сруля первого возведут.

Входит губернатор. Толпа перестает двигаться и выстраивается в две линии, тоже как на сцене, когда появляется герой трагедии. Начались разговоры о том, как поступать и что предпринять. Большинство советовало стрелять в бунтовщиков. Некоторые мрачно молчали. \*Начальник юнкеров хлопал бровями, ерзал на месте и что-то бормотал себе под нос.

— Да ведь и стрелять, господа, можно только тогда, когда есть кому стрелять,—говорит губернатор.—Ну что, если мы прикажем стрелять, а солдаты не будут! Не хуже ли выйдет?

Губернатор обводит большими грустными глазами присутствующих. Эта мысль, повидимому, всех поражает.

— А что, Иннокентий Петрович,—обращается губернатор к полицеймейстеру,—не пришла еще рота солдат из Сухова? Я сегодня в обед послал туда верхового.

— Так точно, ваше превосходительство! Пришла. Я послал за командиром роты, чтобы он пришел сюда.

— Ну вот и отлично... А сколько теперь стоит у арсенала и пороховых погребов?

— По роте, ваше превосходительство.

— А юнкера еще не пришли?

— Скоро будут, ваше превосходительство.

— Придут, разместите у меня внизу в двух комнатах...

Губернатор куда-то выходит. В гостиной снова начинаются разговоры. Спорят о том, будут или не будут стрелять солдаты, говорят и спорят со злобой, хотя никто друг другу не противоречит. Кто-то сказал, что завтра собирается кузнечный ряд на защиту отечества.

— Вот если эти патриоты выйдут,—радостно восклицает капитан,—так и солдат не нужно будет! Вот молодцы, вот патриоты!

Стали разговаривать о том, что нужно дать свободу патриотам. Революционеры собираются и поют песни,—пусть и патриоты собираются и поют песни, революционеры принуждают людей бросать работу, закрывать магазины,—пусть патриоты дадут им отпор.

Вошел командир роты из Сухова,—поручик средних лет, встрепанный, с красным обветрившим, частью обмороженным лицом. Мундир его был испачкан шерстью полушубка; плотная борода свалаялась от башлыка и торчала клочьями в разные стороны. Он конфузливо поклонился, придерживаясь левой рукой за португую. Через минуту вошел губернатор и спросил его о здоровье солдат, благополучно ли дошли, где остановились. Потом пришел управляющий государственным банком и доложил, что привез с собой все золото банковского запаса.

С приходом золота в дом губернатора становится еще страшнее. Все понизили голоса. Пять миллионов рублей денег произвели такое же впечатление, какое произвело бы известие о пяти заложенных под домом минах.

Поручик застрял в приемной и сиротливо оглядывался по сторонам. К нему подходит начальник юнкеров и, хлопая бровями, спрашивает:

— Ну, а как ваши солдаты?.. Если им прикажут, примерно, стрелять, они будут?

Поручик конфузливо замялся.

— В кого стрелять?..

Начальник юнкеров обиделся.

— В кого... В кого прикажут.

— Не знаю... Не пробовал...

Старик презрительно пыхнул и отошел в сторону.

Комната опять наполняется говором. Все эти люди горячились, говорили, злобствовались, курили, махали руками и бестолково бродили с места на место. Казалось, они напились какого-то зелья, которое помutilo их мысли и сделало подобными зверям. Об убийстве людей они говорили так же спокойно, как о чем-то совершенно обыкновенном и даже радостном. Тот кит, на котором целые века спокойно жили и спину которого с легким сердцем гноили и ковыряли они, их отцы, деды и прадеды, этот кит вдруг зашевелился под ними. И первая мысль у этих обезумевших от страха людей должна быть одна: убить этого кита, чтобы он не шевелился, замер отныне навсегда.

### III

В полдень, на другой день, со всех концов города из рабочих кварталов потянулись к центру толпы рабочих. В общественном собрании назначена публичная сходка. По улицам точно еж с перепутанными колючками-штыками проползала рота солдат. Отчетливо звучал стук сотен ног о мерзлую землю. Изредка в ворота и незакрытые окна выглядывали испуганные лица и снова прятались, окинув взором улицу. Черные пачки людей двигались по тротуарам, сплетались на перекрестках, сливались в один поток, который извивался по запорошенной снегом улице, как бесконечный змей, успевший уже просунуть свою голову в двери собрания.

Неподалеку от здания общественного собрания ходили патрули солдат. Но в самом здании не было никакой стражи. Двери были открыты настежь, и черный змей, состоящий из людей, извиваясь своими кольцами, медленно втягивал длинное тело в помещение. Пробравшись в дверь, люди торопились занять места, разбегались по всем ходам в напряженном молчании. Только слышен топот ног, шуршанье платья и тяжелое нервное дыхание. Толпа текла непрерывно, кружилась внизу, точно вода в водовороте, разливалась по залу, ломам и боковым галереям, заливала все свободные места.

— Шапки снимите! Шапки долой! — слышались голоса. Все встали и снимали шапки. В разных местах движущегося моря голов раздался в разные тоны напев марсельезы:

— Отрешимся от старого ми-и-ра...

— Ми-и-ра!.. — пели в другом конце зала.

Кто-то встал на возвышение и начал махать руками. Но песня не ладилась. Толпа нервно двигалась. Слышалось шиканье, возгласы: „Вместе, господа, вместе!“

— Давайте дубинушку!

— Дубинушку, дубину! — слышались крики.

Вдруг с подмосток раздался сильный, красивый баритон. Он сразу овладел общим вниманием. Все затихло.

„Много песен слышал я в родной стороне.

Не про радость, про горе в них пели...

Но одна из тех песен в память врезалась мне,

Это — песня рабочей арте-е-ели-и-и-и...“

Голос поднимал это последнее „и“ долго, точно взбирался по ступенькам большой лестницы, чтобы взойти на высоту и всему миру бросить торжествующий, победный вызов. Вдруг многотысячная грудь ухнула стройно, могучим властным созвучием:

— Эх, дубинушка, ухнем!..

Песня властно захватила всех, соединила одним чувством, одними помыслами. Глаза загорелись редким светом и заблестели слезами. Какой-то мальчик пищал тоненьким голоском что-то нестройное; но громы песни подхватывали и его голосок и уносили вместе с собой, претворяя в одно созвучие.

Все стихло, и над многочисленной толпой опять носился, как сокол в небе, молодой торжествующий голос, снова начал взбираться по ступенькам и опять, как буря на море, грянула песня. Она разрасталась, крепла, ей тесно становилось в четырех стенах, под потолком. Все стены дрожали, точно им передалось общее человеческое чувство.

Когда кончилось пенье, долго раздавались рукоплескания. Давали сведения о ходе забастовки. Сообщили, что полицейские чины первой части все подали в отставку. Раздался дружный смех. Потом вышел один рабочий и с возвышения рассказал, что сегодня он встретил четырех жандармов; они выразили забастовщикам сочувствие и пожертвовали рубль

на поддержание забастовки. В зале на несколько мгновений наступила тишина, точно все раздумывали, как отнестись к этому сообщению, — одобрить, или нет.

Потом говорил студент о том счастливом времени, когда люди будут жить на основах, разработанных учением социализма, когда богатства природы и человеческого труда будут доступны всем в равной мере; когда не будет угнетателей и угнетенных, а будет полная разумная свобода, равенство и братство людей и всех народов. Первый великий социалист, Христос, был распят за свое учение на кресте. И его современным последователям придется страдать много и долго. В настоящее время русским рабочим приходится бороться на два фронта, с капиталом и с правительством, которое делает все угодное капиталистам, стесняет свободу рабочих в борьбе с богачами. Поэтому рабочим для борьбы с капиталом необходимо прежде всего добиться свободы союзов, стачек, печати и неприкосновенности личности. Тогда только борьба будет по силам рабочему классу. Страданий много впереди, но они не боятся страданий и пойдут по стопам Христа, хотя бы на смерть, а своего достигнут. Зато какое счастливое будет время победы! Какой великой силой будет объединенный по всей земле рабочий народ! Впрочем, тогда и не будет кулаков и тунеядцев, не будет такого правительства, которое в угоду сотням богачей пьет кровь, насилует миллионы людей. Тогда будет истинная воля и справедливость на земле...

— Браво, браво! — кричала толпа.

Из партии социалистов-революционеров произносились речи с призывом к восстанию с оружием в руках... Довольно терпели мы насилия кучки развратных людей, цепляющихся за власть своими грязными руками. Довольно! Настал час возмездия. Соединяйтесь все, кому дорога свобода, вооружайтесь. Враг уже почти побежден. Одно наше усилие, и желанная свобода будет нам наградой.

В середине одной из таких речей вдруг раздался голос:

— Нет, это по-моему не так.

— Как же, разъясните? — попросил оратор.

В одном месте толпа завозилась, закрутилась около овчинного полушубка. Слышались возгласы: „На эстраду пригласите, пусть идет на эстраду и разъяснит!“

Обладатель полушубка, с виду похожий на богатого мужика, конфузливо озирался по сторонам, высматривая, где бы можно было скрыться. Но толпа уже нащупала его и вытала к эстраде, как выталкивает вода на поверхность кусок дерева.

— Как же по вашему, разъясните?

Полушубок стоял на эстраде. Голова, подстриженная вскобку, вертелась по сторонам, глаза смущенно мигали. Мужик испугался в непривычном положении.

— Вот вы сказали — не так. Разъясните, как же нужно делать? — слышался уже раздраженный голос.

К общему удивлению, мужик схватился одной рукой за поду шубы, а другую поднял вверх и закричал не своим голосом:

— Да здравствует леворюция!

И ушел с эстрады боковым ходом.

В зале долго раздавались рукоплескания и смех.

Начало заметно темнеть. Сумрак окутывал низ зала, возвышение, ложи. Окна вверху за галереей смотрели в толпу, как чьи-то немигающие светлые глаза, но не освещали зала. Ораторов уже почти не видеть. Слышно только, как из сумрака рождается чья-то взволнованная, страстная речь, говорит о свободе, о страданиях народа, потерявшего в унижении и рабстве человеческий образ. В зале стало душно. Председатель прекратил собрание. Решено пройти по улицам с пением марсельезы.

Сначала песня долго не ладилась. Наконец, толпа уловила мотив и, отбивая такт тысячами ног, закрутилась и двинулась к выходу. Все пело и двигалось. Казалось, самое здание тоже закружилось к выходу со всеми своими стульями, галереями, ложами и тоже поет вместе с людьми песню свободе. На улице было еще довольно светло. Патрули солдат остановились по углам в боязливом недоумении с ружьями на плечах.

„Вставай, подымайся, рабочий народ“ —

неслась со всех сторон песня. Казалось, это — пела улица, не то самая земля встrepенулась, проснулись миллионы сгоренных ею рабов и шлют оттуда свой восторженный ответ:

„Раздайся, крик мести народной“ ...



Вдруг донеслись какие-то посторонние звуки. Что-то нестройное, враждебное ворвалось в напев марсельезы. Все невольно оглянулись по сторонам. Откуда это? Кто несогласен и протестует?..

Враждебные звуки раздавались громче и громче. В них было что-то обычное, всем хорошо знакомое, как вся прожитая до сих пор жизнь с ее неправдой, горем и насилиями... Это было что-то совсем старое, отрезвляющее от звуков свободной песни и вселяющее невольный страх. Казалось, кто-то смеется над толпой, смеется злобно, с сознанием своей страшной силы и власти.

— Ха, ха, ха! Свободы захотели, курицыны дети! Про свободу запели! Не рано ли?! Ха, ха, ха!..

Из-за поворота улицы, на которую загнулась уже толпа с пением марсельезы, показалась другая толпа. Впереди ее шли люди с иконами, хоругвями и портретами. Оттуда неслось басистое и сильное пение русского гимна. Там видны бородатые лица; в одну кучу смялись полушубки, богатые дохи, рваные пальто, армяки и тулупы.

Казалось, что там, в этой второй толпе, идут длинные столетия русского рабства, бесправия, темноты и нищеты.

„Марсельеза“ понемногу стихла. Зато вместо нее выросло и крепло другое пение. Толпа как-то зловеще и угрожающе выкрикнула:

... Царствуй на стр-рах вр-рагам!..

Обе толпы закрутились, смотря друг на друга многотысячными глазами. Так обходят друг друга, шевеля шерстью и скаля зубы, две собаки, готовые броситься одна на другую.

Пение гимна вдруг кончилось и раздалось громкое и злобное: „ура!“

Вблизи раздался одинокий выстрел...

Кто это сделал — об этом долго потом спорили, чтобы решить, кого обвинять, кто был зачинщиком: „революционеры“ или „патриоты“. Только это должно было случиться непременно минутой раньше или минутой позже. Это должно было случиться так же непреложно, как непреложно должны столкнуться два поезда, идущие друг другу навстречу по одному пути. Этот выстрел заставил всех вздрогнуть и на мгновение остановиться.

Но это недоумение продолжалось только одно маленькое мгновение. Потом все стало ужасно понятно. Хоругви покачнулись в сторону толпы, певшей марсельезу; иконы и портрет исчезли, разношерстная толпа закричала, как дикое голодное животное, оцетинилась палками, топорами, приподнятыми руками и бросилась на другую толпу. Раздались выстрелы, стоны и крики.

— Бей их, предателей! Бей изменников!

Вся улица двигалась, точно по ней катились черные клубки. Сзади раздавались выстрелы, слышались крики, истеричный



И. Фешин

ПОЛНАЯ ПОБЕДА

плач и скверные ругательства. Взвод солдат стоял на углу и растерянно метался по сторонам, не зная, что делать, а если стрелять, то в кого.

Вдруг черные катящиеся клубки начали останавливаться и бросаться вперед. Наперерез бегущим из другой улицы выбежала толпа оборванцев и здоровых кузнецов с закопченными лицами. У многих из них были молотки, топоры, ружья.

Через улицу стояло большое двухэтажное здание. Двери в него были открыты и люди начали забегать туда. На улице образовался загон, на котором с двух сторон происходило избиение безоружных. Кто успевал, нырял в раскрытые двери двухэтажного дома. Многие бегали по улице с широкими глазами, с бледными лицами, не зная, куда скрыться.

По улице скакали уже казаки и били тех, кто старался скрыться. Скользя и задыхаясь, бежала какая-то девушка. За ней скакал на лошади казак и крутил в воздухе ногой. Лошадь ударила девушку грудью в спину. Она вскинула руками, перевернулась и упала на спину без памяти. Платье ее завернулось на голову, открыв всю нижнюю часть тела. Казак проскакал мимо, потом повернул лошадь обратно, нагнулся в седле и со всего размаха ударил девушку плетью между ног. Брызнула кровь и окрасила кругом снег. Вид крови опьянил казака; он скакал взад и вперед, нагибался с лошади и сек бесчувственное, оголенное тело, разрывая с каждым ударом кровавое мясо и белье. Какой-то рабочий, пробегая мимо, остановился около окровавленного тела и бросился к нему, чтобы прикрыть или отнести в сторону. В эту минуту налетевший казак ударом шашки пересек ему живот. Рабочий упал на землю и ползал около девушки, точно искал в снегу потерянную монету. А за ним, как обрезанные веревки, волочились грязные кишки.

#### IV

В доме, куда скрылись преследуемые, была какая-то канцелярия: стояли шкафы, столы с бумагами, счетами, чернильницами. На одном из столов кто-то положил подобранный у ворот труп девочки и устроил ее голову на каком-то толстом „деле“. К ней бросились женщины, чтобы привести ее в чувство, но с испугом откачнулись в сторону, когда заметили, что она мертвая. Многие не утерпели и заплакали.

Здесь было больше ста человек: рабочие, студенты, курсистки, гимназисты, старики и даже дети.

В комнату вбежал господин в енотовой шубе на распашку, в меховой шапке, с бледным лицом. Он тяжело дышал, метал по толпе глазами, кого-то искал.

— Нет ли здесь девочки, гимназистки. Лена Синева, — спрашивал он торопливо встречных. И не дожидаясь ответа, закричал:

— Лена, Леночка! Лена!

Все остановились. Как эхо по всем комнатам послышались голоса: „Лена, Лена зовут“.

Господин в енотовой шубе хотел было бежать в следующую комнату, но заметил труп девочки на столе. Глаза его

расширились. Он бросился к труп, потянул в себя со стоном воздух, схватил свою Лену обеими руками, припал головой к ее лицу и зарыдал. Он тормозил труп и целовал его. Все тело его подергивалось; казалось, что он играет с девочкой, щекочет ее, хохочет и целует. Потом он поднялся и обвел мутными, злыми глазами толпу. Усы его и губы были вымазаны кровью с губ Лены. Смотреть на него было страшно. Казалось, что отец ищет глазами убийцу своей дочери.

Около дома на улице собралась толпа. Сюда же со всех концов города стягивались солдаты, среди которых бегал начальник юнкеров, махал руками, показывал на дом и что-то озлобленно кричал. Раза два по улице проскакал на лошади полицеймейстер. Толпа нарастала, возбужденно шумела и облепляла двери дома.

Из окна видно было, как вышел в толпу несчастный Ленин отец, бледный, без шапки, с телом дочери на руках. Толпа расступилась было перед ним, но какой-то человек ударил его сзади по голове железным ломом. Он упал вперед, точно поскользнулся. Толпа черной волной захлестнула свою жертву и глухо зашумела. С улицы раздались несколько выстрелов в окна дома. Болезненно зазвенело разбитое стекло. Осажденные метнулись в верхний этаж. Через минуту внизу было пусто. Лестницу наверх заложили стульями, столами, пачками бумаг, шкафами. Скоро по лестнице застучало много ног. В дверь ударили чем-то тяжелым и с бранью приказывали отпереть двери. Из дому грозили стрелять. Когда стук повторился, из дому сделали сквозь двери несколько выстрелов. Толпа с ругательствами очистила лестницу.

— Не хотите отпирать! Врете, отопрете! Мы вас выживем!

Темнело. За стенами слышался шум, точно дом окружен был громадным лесом, и лес этот шумел от ветру; или — дом стоял на скале среди моря, и море шумит, бушует вокруг. Толпа, лес и море шумят одинаково. Скоро на улице запели: „Боже, царя храни!“, кричали „ура!“. Осажденные тоже пели марсельезу и кричали: „Долой тиранов и рабов!“

В комнате было душно. Пенье марсельезы было невеселое, мешалось со стонами и плачем женщин.

Улица смотрела сквозь широкие окна в темноту комнаты серым, тусклым, немигающим взглядом. Вдруг темный взгляд

улицы стал оживать, загораться красным светом, точно у кровавого зверя, нацелившего свою добычу... Запахло гарью. Дом загорался снизу.

Пенье марсельезы прекратилось. Осажденными овладел ужас. Минуту тому назад все были уверены, что уличная толпа бессильна, что они в безопасности. Теперь всех охватили муки предсмертного страха. Ужас нарастал с каждой секундой. Казалось, он зарождался в темных углах, в проходах между комнатами, ползал между ногами и, как скользкая, холодная гадина, ползал по телу, шевелил волосы на голове, щупал холодными пальцами лицо, хватался за горло, давил его, сжимал в голове мозг, останавливал даже самую мысль. У всех осталась только одна мысль, одно слово: „Горим!“ „Горим“—говорили со всех сторон. Некоторые женщины закрывали лицо руками, чтобы не видеть, как разгорается огнем тусклый взгляд зимнего вечера. Все металось по комнатам, хватало друг друга за руки, за плечи, смотрели друг на друга расширенными от страха, светлыми в темноте, как у кошек, глазами, мотали головами и бормотали бессвязное, невнятное. Кто-то нечаянно выстрелил из револьвера в пол. Со многими сделалась истерика и обмороки. В окна стали стрелять. Несколько человек упали на пол и стонали. Некоторые бросились на чердак под крышу, думая там найти спасение. Кто-то, обезумев, звонил в телефон и кричал: „Спасите, спасите, горим!“ Многие стреляли из окон в толпу, чем больше разжигали ее озлобление.

Пол уже начал нагреваться. Комната наполнилась дымом. Несколько человек лежало на полу в беспамятстве. Некоторые выпрыгивали в окна на улицу. Толпа свертывалась над ними комом, рычала и через минуту отходила, оставляя на земле ободранные трупы.

А дом горел. Толпа облежала его со всех сторон, шумела, кричала „ура“. Раздавались выстрелы и страшные безумные возгласы. Из горящего дома люди выползали на крышу, как тараканы из щелей, в безумии бросались, спускались по водосточным трубам. По ним стреляли, и они падали на землю, как камни. Какая-то девушка вылезла на крышу и кричала:

— Опомнитесь! Что вы делаете, убийцы!

Раздался выстрел. Девушка, точно мешок, упала на крышу, покатилась по ней и застряла в желобе. Только муфта ее упала

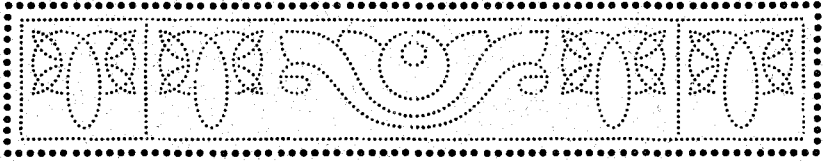
вниз. Толпа в страхе посторонилась от муфты, точно это была бомба. Какой-то оборванец подошел, поднял муфту, засунул в нее грязные руки и засмеялся пьяным, сопливым ртом.

Еще около часу горел дом. Стоны и крики замолкли. Темными, страшными взглядами смотрели в пламя окружающие дома. Ночной мрак, казалось, силился прикрыть от мира людское злодеяние и махал испуганно над догоравшим костром своими темными крыльями. Пошел снег и покрывал окровавленную грязную землю и трупы легким, чистым покровом. Толпа медленно расплзалась...

---

На другой день в город пришла весть о манифесте 17 октября. Город ликовал...





ЖЮЛЬ РОМЕН

## ДЕВЯТОЕ ЯНВАРЯ



А пережил нечто подобное в 1905 году, — сказал Брудье. — И вы, может быть, тоже. В 1905 году зимой.

Как сейчас помню, это было в Фабурге Сент-Оноре, под вечер. Я шел по левому тротуару по направлению к реке. Был довольно приятный январский день, не слишком холодный, не слишком сырой, небо было облачное, но не тяжелое. Я шел в сторону Терле по делу, хотя и не очень спешному, но которое все-таки лучше было не откладывать.

Вдруг я услышал за собой, вдали, крики газетчиков; точно какая-то толпа неслась по улице. Это было во время русско-японской войны и первых беспорядков в России. Вечерние газеты брались нарасхват; хотя и боялись уток, но все считались с ними гораздо больше, чем обычно. В них могли быть телеграммы серьезных агентов; рассказ о какой-нибудь битве; официальные цифры раненых и убитых; перепечатки из английских газет. Короче говоря, с самого начала войны крики газетчиков по вечерам очень волновали меня, и я раскошеливался.

И тут я замедлил шаг, чтобы подождать их. Я еще не держал в руках газету, как уже прочел „Содержание“ — „Репрессии в Петербурге. Войска стреляют в народ“. Бросаюсь на „Последние новости“. Жирным шрифтом в пятнадцати строках сказано: „Вчера 22 января (нов. стиля) громадная толпа, мирная и невооруженная, с женщинами и детьми направилась к Зимнему Дворцу, чтобы передать царю, отцу народа, мольбу всей России. Царь, отец народа, ответил на это, послав пехоту и казаков. Казаки атаковали, пехота стреляла. Толпа не сопротивлялась; встала на колени в снег и запела гимн. Около трех тысяч убитых“.

Мне не надо было перечитывать; я знал телеграмму наизусть с первого раза. Но я уже не понимал, где я. Осматривался вокруг себя, точно очутившись где-то в незнакомом месте; и с изумлением отмечал существование и положение каждой вещи.

Затем захотелось кричать на всю улицу, собрать в одну кучу прохожих, немедленно поднять восстание. И тут я подумал о тебе, мой старый Бэнен; и сказал себе: „Надо, чтобы



Н. Верхотуров

РАССКАЗ ОЧЕВИДЦА

он сейчас же узнал об этом, надо немедленно поговорить с ним; надо нам вместе это торжественно пережить“. Я чувствовал, что лопну от негодования, если не узнаю сейчас же, что есть на свете хоть еще одна человеческая душа, которая негодует вместе с моей.

Ты жил на верху Монматра, я ни минуты не колебался; побежал до Сен-Филипп дю-Руль и поймал омнибус, шедший до сквера Сен-Пьер. Вы помните, сколько времени приходилось тратить на этих колымагах? И все-таки, когда я вылез у сквера, мой гнев не уменьшился ни на миллиметр. Он долетел со мной до Сен-Филипп дю-Руль, и с ним я поднимался на Монматр.

Подошел к твоему дому. Консьерж говорит:



— Кажется, его нет, но все-таки поднимитесь. Я, может быть, не заметил, как он вернулся.

Как я мучился, всходя по лестнице! Я дал бы сто су, чтобы на мой звонок дверь открыли бы. Вы знаете это ужасное чувство? Звук звонка проникает, как зонд, как ланцет, в самую глубь запертой квартиры; звонишь еще и кажется, что во второй раз звук своим острием проникает еще глубже. Но квартира остается недвижимой, как только что умершее тело.

Когда я спускался вниз, я был совершенно растерян. Я прошел наугад две или три улицы. Затем решил написать тебе. Вошел в почтовое отделение, спросил открытое письмо. Оно было заполнено в одну минуту; весь гнев, переполнивший меня, вылился в нем.

Но этого мне было мало; я хотел поймать кого-нибудь живьем. Может быть, Гюшон дома? Хватаю другой омнибус. Один из пассажиров держал в руках ту же газету, что и я. Он читал телеграмму. Я следил за его лицом. У него был вид довольно доброго человека: немного выпуклые глаза, мягкие щеки, гладкие усы, ничего злого. Я надеялся, что он слегка вздрогнет, сожмет губы, наморщит лоб, начнет тяжело дышать. Он не шелохнулся и, перевернув страницу, стал читать результаты скачек.

Гюшона не было дома. И я целый час был точно пришиблен, и все мне было противно. Итти куда-нибудь не хотелось. Я думал обо всем том, что есть ужасного и несправедливого в мире и что ведет его к гибели. Мысли быстро сменяли одна другую.

Я подумал, сам не знаю почему, о битве при Ансире и почти одновременно о смерти Тиверия Гракха, о владычестве над Европой нескольких банкиров, об углекопах, о славе Карузо и нелепой борьбе животных в мире.

Кончил я тем, что пошел и сел на террасу кафе, и сидел бы там до полночи, если бы не было так холодно и так темно.

\* \* \*

Пока Брудье говорил, к столику подошел гарсон.

— Я тоже, — сказал он, — помню двадцать второе января. В то время я был без места и старался перебиться случайной работой. Как раз у меня был друг — консьерж на улице

Миромениль; в его доме да и в соседних часто давали обеды и к нему обращались, чтобы он достал помощника повара или лакея. Раз он позвал меня... К жильцам его дома; любили пу-скать пыль в глаза... Квартира в пять тысяч, вилла, авто... Отец принимал участие в целой куче предприятий; занимался денежными аферами, сахаром, керосином и чорт его знает чем еще! Конечно, прожигатель жизни, но и ордена, и церковь, и аристократические знакомства.

К обеду у них было только человек десять. Но, судя по приготовлениям, самого высшего общества. Горничная помо-гала кухарке готовить. Мы с консьержем, одетые в ливреи, служили за столом. Между блюдами мы стояли навтыжку каждый в своем углу, на чеку с дурацким видом.

На моей стороне сидел какой-то тип еще довольно моло-дой, бритый, как кюре, с голубыми глазами и злым ртом; ба-рынька лет двадцати пяти—тридцати вся розовая, много гово-рившая и смеявшаяся по всякому поводу; другой тип лет тридцати пяти, вытянутая морда, усы, как плакучая ива, голос сиплый; еще дама приблизительно тех же лет, полненькая, с недовольным видом и повелительным тоном; старик, кото-рого я уже хорошо не помню; старуха сморщенная и намазан-ная, вся в морщинах, которые шевелились под пудрой, как черви в муке; и, наконец, хозяин, улыбающийся, с большой черной бородой и орденом Почетного Легиона.

Знаете, на такую работу я иду, когда уж очень трудно приходится. Мне не тяжело подавать блюдо или выпивку чест-ным парням, которые зарабатывают себе на жизнь, как и я. Это делается совершенно просто, без всяких вывертов. Но под-носить блюдо, закругляя локти, какому-нибудь прохвосту, ко-торый на вас даже и не взглянет и который скорее отрежет себе язык, чем скажет вам спасибо, видеть, как вдруг хо-зяйка, неизвестно за что, зло посмотрит на вас, получать не-заслуженный выговор, выслушивать его покорно и бормотать извинения... Нет... я предпочитаю другое!

Они ели рыбу; разговор не клеился. И вот тип, с лицом кюре, говорит самым спокойным голосом:

— Вы читали вечерние газеты?

Хозяин отвечает:

— У меня есть „Тан“ и „Деба“ но я их еще не раскрывал.

— Только что вышли экстренные прибавления. В Петербурге что-то скверно.

Все насторожились. Я тоже интересовался русскими делами. По утрам не пропускал ни одной строчки.

Хозяин спрашивает:

— У вас есть это прибавление?

— Да, кажется, есть.

И он вынимает из кармана газету.

— Посмотрите... телеграмма в „Последних известиях“.

И протягивает газету.

— Нет, дорогой мой, прочтите сами. Мы все с удовольствием слушаем.

Бритая морда стала читать телеграмму, о которой только что говорили. Слово в слово то, что сказал нам тот господин. Меня это так поразило, что я не мог удержаться, и сказал:

— Ах!

Заметьте, меня почти не было слышно: легкое „ах“ и больше ничего. Но и этого было слишком много. Ведь лакей, это — не человек, это — вещь. Волнение лакея? Что это такое?

Хозяин злобно взглянул на меня; хозяйка отвернулась и нахмурила брови; бритая морда посмотрела на меня искоса через плечо и усмехнулась; а мой друг консьерж чуть не упал в обморок.

Я снова встал на вытяжку; и казалось, что уже никто не замечает моего присутствия.

— Царь решил действовать энергично, — сказал хозяин, — наконец-то, он показал кулак.

— А я думала, — произнесла толстенькая дама, — что этот несчастный так и будет убаюкивать себя гуманными мечтами. Я даже предсказывала ему судьбу Людовика XVI.

— Вот именно, сударыня, — сказал тип с висячими усами, — третьего дня я присутствовал на ежегодной заупокойной обедне и мне в голову пришло то же сравнение, что и вам. Бедный Людовик XVI. Ему не хватало только энергии.

— Он был слишком добр. Чем возиться-то с санюлотами, он должен был с самого начала расправиться с ними. Николай II тоже утопист. Вспомните его Гаагскую Конференцию. Но он окружен лучше, чем Людовик XVI, и спохватился во-время.

— Во-время? А вы не думаете, милая барыня, что он очень опоздал?

— Может быть! Но если репрессия и запоздала, она все-таки, кажется, серьезна.

— Ах! — сказал старик, улыбаясь, — нам бы сюда несколько казаков! Эти господа из „Синдиката Труда“ быстро бы образумились.

У меня дух захватило. Услышав это, я бросил салфетку на пол, крикнул: „чорт вас подери“ и пошел к двери.

Хозяин встал; хозяйка встала.

— Вы с ума сошли!

— Он пьян!

Я поворачиваюсь.

— Я не сошел с ума и не пьян. Но мне противно видеть такое сборище подлецов. Я вам это говорю, и не благодарите меня, — не стоит.

Бритая морда заявляет:

— Следовало бы ему надрать уши.

Я делаю шаг вперед.

— Что? Что вы сказали? Надрать мне уши? Берегись, как бы я твоих не оторвал! Вам меня не запугать, сколько бы вас тут ни собралось. Здесь нет ваших казаков; не надо этого забывать!

Очевидно, у меня был очень решительный вид, они больше не пикнули. Я слышал, как хозяйка бормотала своим соседям:

— Я в отчаяньи, в отчаяньи...

Я взялся за дверь и крикнул хозяину:

— До свиданья! И знайте, что вы мне ничего не должны! Это вам сделает маленькую экономию.

\* \* \*

Вся зала слушала. В глубине один посетитель, одетый не как рабочий, сказал:

— Зимой 1905 года я был в Лондоне, где служил приказчиком у французского книготорговца. Я тоже очень интересовался событиями, волновавшими русскую империю. Место мое позволяло мне быть относительно хорошо осведомленным. Мы получали большинство английских журналов. Кроме того, в моем

распоряжении были периодические издания, обозрения, иллюстрированные журналы и т. д. А еще я читал или по меньшей мере просматривал книги и брошюры, относящиеся к европейской политике, которые были у нас на складе.

Но я узнал о событиях 22 января не в лавке хозяина, а на улице, как и все.

Я ходил по делам. Около трех часов, если память мне не изменяет, я выходил со станции электрической железной дороги.

У меня было дело поблизости, и я рассчитывал вернуться пешком домой, неподалеку оттуда.

Я жил только четыре месяца в Лондоне, и я считаю себя уравновешенным человеком. Но должен признаться, что Лондон странным образом действовал на меня. Я никогда не был таким впечатлительным, никогда мои нервы не были так взбудоражены, как в этом городе, который считается холодным и флегматичным.

Бывают такие животные и даже бывают люди, на которых очень действуют малейшие изменения в атмосфере, приближение грозы выводит их из равновесия. На лондонских улицах я был похож на них. Некоторые улицы приводили меня в совершенно исключительное состояние, а также и площади или перекрестки. Я не мог переходить через них так спокойно, как бы мне этого хотелось.

Говорю это скорее для себя, чем для вас, чтобы самому себе сделать более понятным тот поступок, который затем последовал.

Наталкиваюсь на газетчика. Он кричит об экстренном выпуске. Покупаю и читаю английскую версию телеграммы, о которой вы говорили. Сначала я неясно отдал себе отчет о том впечатлении, какое эта новость будет иметь на меня. Я прочел ее в несколько приемов; даже пробежал всю газету. Через несколько минут я заметил, что шел совсем не туда, где у меня было дело, а шагал по большой улице.

И вдруг среди толкотни и страшного шума улицы я почувствовал, как меня все больше и больше охватывало волнение. Я продолжал идти, но уже чувствовал легкую лихорадку.

Там есть триумфальная арка вроде нашей на площади Карусели и начинается Гайд-Парк, самый большой парк в Лондоне. У входа в парк что-то вроде луга.

День кончался. Все кругом было залито золотистым туманом, и он точно все приподнимал от земли; отблески на стеклах, на облицовке стен сверкали как зрачки и, казалось, глядели на вас. Хотелось думать о чем-то грустном, славном, вечном.

На углу Гайд-Парка две или три черных группы. В каждой группе кто-то проповедывал о религии или о какой-нибудь доктрине; прохожие, собравшиеся вокруг, слушали в молчании.

Оставалось еще большое свободное пространство. Я становлюсь посредине и вдруг начинаю говорить.

Я плохо знал английский язык, приехал в Лондон только за шесть недель до этого; у меня было плохое произношение и самый скудный запас слов. Каждую секунду я затыкал дыры в моих фразах французскими словами.

И вот я стал говорить. По правде говоря, я уже больше не сознавал, где я, больше не думал, не видел никого и ничего. Я был точно во сне.

Сначала на меня не обращали никакого внимания; я говорил один в этом тумане догорающего дня. Затем подошло два или три человека, и быстро образовалась толпа.

Что я говорил? Я не мог бы вспомнить не только слов, но даже и мыслей. Но хорошо помню, что слова являлись и укладывались в моей речи с необычайной для меня легкостью.

Должно быть, я говорил им о том, что там, далеко, произошло кровавое и ужасное событие; что, конечно, многие из них прочли эту новость, но рассеянно и легкомысленно; я им сказал, что я француз и что как их, англичан, так и меня, француза, это событие не касается; оно не касается ни моей национальности, ни моих близких; но ведь мы также европейцы, мы также люди и не заслуживали бы называться людьми, если бы кровь не застыла у нас в жилах при вести о таком злодеянии; я сказал им, что наш протест сегодня вечером, здесь в Лондоне, в углу Гайд-Парка, конечно, не воскресит тех убитых; но что очень важно, если в этот же час, во всем мире все настоящие люди объявят вне закона человеческого убийц русского народа; что если есть бог, то его не может не потрясти сила нашего гнева, а если бога нет, то на всех справедливых людей в этом мире налагается почетная обязанность заменить его.

Они не смеялись ни над моим возбуждением, ни над моими ошибками в языке. Их бледные лица доверчиво смотрели на

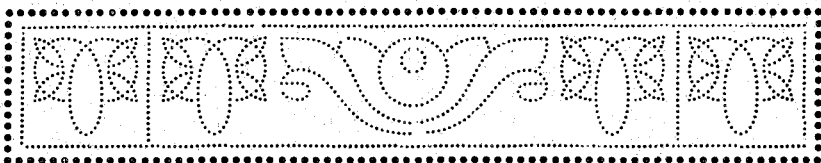
.....

меня. Порой кто-нибудь кивал головой и убежденно говорил. Они ни разу не перебили меня и не выказали ни малейшего нетерпения. Случалось, что кто-нибудь делал видимое усилие, чтобы понять какую-нибудь из моих фраз более запутанную, чем другие.

И, когда я замолк, они расступились, чтобы дать мне дорогу, некоторые кланялись, снимая котелки.

Было темно, было холодно. Я уехал по подземной дороге. Вот и все.





О. ДАВЫДОВА

## ПЕРВЫЙ ДЕНЬ

(Из хроники октябрьских дней 1905 г.)



### I

Таня спала. Маленькая фигурка ее сжалась в комок под жестким казенным одеялом. Пушистые волосы выбились из косы и темной каймой покрывали бледные щеки и лоб. Губы были плотно сжаты, а тонкие брови сошлись в одну линию, и маленькая складочка муки и мысли легла между ними.

В последнее время Таня плохо спала и, просыпаясь, чувствовала во всем теле утомление и боль, как после долгой и тяжелой работы. И сны были у нее кошмарные и неясные, как призраки былого.

Всего мучительнее был один: снилась ей часто далекая и снежная пустыня и маленькие и угрюмые, как гробы, юрты, затерянные в бесконечной степи. И страшное, неживое молчание висит над белой пустыней... Оно давит грудь и не дает проснуться...

Со стоном просыпалась Таня после этого сна и с облегчением смотрела на толстые серые стены своей камеры. А потом долго думала о тех людях, с которыми она жила там, и о их загубленной жизни, такой прозаически-убогой и такой глубоко-трагичной...

От этих мыслей ей становилось жутко, и, точно борясь со своим страхом, она говорила тогда вслух твердым, уверенным голосом: „Никогда!“... А потом совсем тихо добавляла: „Убегу!“

Быстрой змейкой скользил этот шопот по серым стенам и прятался в темных углах. Таня слушала, как исчезал он там, лукавый и задорный, — и ей становилось весело; радостным, звенящим голосом она запевала тогда свои любимые песни.



За эти песни любили ее уголовные и называли „соловухом“.

Таня пела одну песню за другой. С молодой отвагой разбивались о каменные стены бодрые красивые слова и рассыпались серебряным дождем. Потом сразу она замолкла и сидела неподвижно с потухшими глазами, потому что в песнях говорилось о свободе и борьбе, а Таня давно не видала свободы...

Угрюмо-тихо становилось в тесной камере. Еще ближе и грозней сдвигались тогда старые стены, которые не любили песен свободы...

Тюремное утро давно началось. Глухо шумела тюрьма. Таня спала, плотно сдвинув темные, как шнурочки, брови.

Вдруг тихий осторожный стук раздался у двери. Таня открыла глаза и разом села. Стук повторился. „Никита Кривой!“ — прошептала Таня и, быстро накинув на себя халат, бросилась к двери и припала ухом к замочной скважине.

— Никита! Ты? — чуть слышно прошептала она.

— Я, я... Твоим-то, слышь, свобода вышла, — сдавленным голосом говорил Никита. — В надзирательской слышал... Ты молчи, уж узнаем...

Шопот смолк, и слышно было, как по каменному полу осторожно зашлепали коты.

Таня стояла у двери, вся дрожа. Босые ноги точно приросли к холодному полу, а в широко раскрытых глазах стояло недоумение и жуткая радость.

— Твоим-то свобода вышла, — стояли пред ней слова Никиты, такие простые и глубоко-значительные. Ей казалось, что снится ей новый, невиданный сон, и что сейчас она проснется, и все исчезнет. И измученными глазами обводила Таня стены своей камеры, ища у них ответа. Но молчали суровые стены.

В коридоре послышались шаги, загремели ключами и железной посудой. Несли кипяток. Таня отошла от двери и стала торопливо одеваться. Открылось дверное окошечко, и протянулась рука с чайником. Принимая его, Таня нагнулась, пылливо всматриваясь в лицо надзирателя, но холодно и сурово, как всегда, было старое лицо.

Она подождала, пока замолкли шаги, а потом бросилась к окну.

Окно было маленькое и приходилось высоко под потолком. Чтобы достигнуть его, надо было взлезть на стол, а затем, подтянувшись на руках, повиснуть на прутьях решетки, упираясь коленями в покатый подоконник.

Двойные рамы и толстые прутья мешали смотреть, но Таня привыкла к ним и часто по целым часам висела на окне.

За долгие месяцы она изучила до мелочей все, что было видно из окна: и большую пустую площадь, куда выходил передний фасад тюрьмы, и длинную улицу, которая шла дугой вниз от площади.

Люди сверху казались маленькими, как черные фигурки на шахматной доске, и были все одинаковые. Иногда Таня подолгу ждала, что они остановятся и увидят ее, но они проходили мимо, равнодушные и спешащие. Тогда в душе ее поднималось чувство какой-то незаслуженной обиды к этим будничным спокойным домам и равнодушным, далеким людям. Она соскакивала с окна и ложилась на койку, усталая и сиротливая.

Быстро и ловко, как векша, взобравшись на подоконник, повисла на окне.

Первое, что она увидела, были флаги на домах, обычные трехцветные флаги, но у некоторых из них были оборваны белые и синие полосы и оставались лишь красные. Люди внизу не шли обычной деловой походкой, как всегда, а стояли маленькими кучками и о чем-то говорили.

И тотчас же Таня поверила, что Никита сказал правду, что случилось что-то новое и радостное в ее огромной и печальной родине, и забило сердце, как птица, рвущаяся на волю...

По коротким обрывочным вестям с воли Таня знала, что та большая и трудная работа, которая шла за стенами тюрьмы, близится к концу, и что скоро наступят великие дни...

Она верила в это.

Волшебно-прекрасными рисовались ей в длинные темные ночи эти последние, великие дни... Тогда она думала о том, какое огромное счастье жить, и как радостно гибнуть в это время. И знала, что уже близко оно, — и ждала...

Но один за другим шли серые тюремные дни, и по временам Тане казалось, что та обыденная жизнь, которую она видела из окна, никогда не изменится, и гасли мечты.

Вдруг сегодня эти длинные красные ленты на домах и необычайно-оживленные люди... Страстно захотелось ей знать сразу, немедленно о том, что делается на воле. Таня спустилась с окна, подбежала к двери и с силой стала ударять кулаками в железную обшивку.

Гулко разносились под каменными сводами удары маленьких слабых рук. Тотчас же, как по уговору, из уголовных камер загремели ответные удары и, сливаясь в один общий гул, звучали угрозой и отчаяньем...

Послышались торопливые тяжелые шаги; открылось окошечко, и просунулось сердитое лицо надзирателя.

— Чего стучите? Уголовных мутите только... Что надо? Но в строгом голосе Тане почудилась тревога и смущенье.

— Отчего флаги на улице? — быстро спросила она.

— На окно влезать не полагается. В карцер переведут, — угрюмо прозвучал ответ, и форточка захлопнулась.

## II

Наверху задвигались и зашумели: уголовным в общей принесли обед. Этот гул голодных голосов в определенный обеденный час наполнил тоской ее сердце, и то тревожно-радостное, что вспыхнуло в ее груди сегодня, испуганно забилось и исчезло. И ясно-ясно представилось ей, что ничего нет, что все по-старому: через час принесут ей обед, потом наступят длинные сумерки, ночь, длинная тюремная ночь... Таня рассмеялась над своими безумными мечтами, и был этот смех, как рыданье. Но все-таки ее тянуло к окну. Медленно, как будто нехотя, взобралась она на стол и заглянула в окно. Вдруг острая жгучая радость остановила дыхание: там, внизу, длинная улица, уходящая дугой от площади, была вся покрыта народом...

Они были еще далеко, но они шли сюда.

Сплошной живой массой, как большая грозная змея, двигалась огромная толпа. Высоко над ней впереди развевались красные, как зарево пожара, знамена.

Таня приросла к решетке. Безумным восторгом горели глаза на бледном лице, и билось сердце, точно вырываясь из груди, а мысли, яркие и острые, как стрелы, пронзали мозг и неслись туда, к черной толпе...

Вспомнила вдруг Таня, как несколько лет тому назад они шли по улице такого же города, спокойного и будничного. Их было тогда не больше ста. А вокруг, по сторонам, стояла праздная любопытная толпа. Она боялась подойти к ним, и шли они маленькой одинокой кучкой. Потом, как вихрь, налетела на них грозная орда и оцепила их густым кольцом... Разбежалась, увидя это, как стадо, трусливая любопытная толпа.

И вспомнила Таня дни после этого, когда мучительно хотелось умереть, чтобы не чувствовать больше позора быть рабом, тоскующим о свободе...

Это было тогда.

А сейчас сердце властно и настойчиво стучало: жить... жить... жить...

Спокойно-уверенно подвигалась вперед черная лента людей и подходила все ближе и ближе.

Вдруг Таня поняла, что она, эта огромная толпа, идет сюда, к ней, — и, быть может, уже ищет она тысячью радостных глаз ее, одинокую и затерянную в большом белом здании, с десятками решетчатых окон. Удерживаясь на одной руке, Таня ударила другой по стеклу окна. С веселым звоном посыпались осколки, а Таня засмеялась и, продвинув руку сквозь отверстие, ударила по внешней раме. Снова зазвенели стекла и острыми зубами впились в руку и покрыли ее алыми каплями. Но Таня не почувствовала боли; пресунув руку за вторую решетку, она быстро и радостно стала махать платком, приветствуя толпу, а тонкие алые струйки текли по бледной руке и смачивали платок.

Толпа приближалась. Уже видела Таня их лица, радостные и торжественные, и слышала пенье. И хотелось запеть ей ответную песнь, но слезы восторга душили голос, и не было слов...

Передние ряды уже достигли площади, и вдруг ровным кругом быстро развернулась огромная лента, и море голов залило пустую площадь. И казалось, не было уже места, а все выростали и строились сомкнутые черные ряды вокруг красных знамен.

Вот остановились знамена, и стихла черная площадь. Таня увидела, как расступилась широкой дорогой толпа, и несколько человек прошли по ней прямо к воротам тюрьмы.

Тогда Таня поняла, что это за ней и, еще раз махнув платком, соскочила с окна, подбежала к двери и стала молча, с бьющимся сердцем, с напряженными членами, и ждала...

По коридору уже шли. Со скрипом распахнулась старая железная дверь. Таня бросилась вперед, и расступились перед ней люди в казенных мундирах, и бледны и тревожны были их лица.

Быстрыми легкими шагами неслась Таня по мрачному коридору и вдруг остановилась: около общей уголовной стояла кучка людей в серых куртках и котках.

Они ждали ее. Они смотрели на нее жадными, завистливыми глазами, и немой вопрос стоял в их лицах: „А мы-то?“...

Острой болью за них дрогнуло сердце Тани. Казалось ей, что сейчас она скажет им много радостного и светлого, — и не было слов... Тогда она протянула им руки и прошептала: „Прощайте, братцы“...

Тотчас же они бросились к ней, и несколько жестких рук сжали ее пальцы.

Они поняли ее ласку и тоску за них. Убийцы и воры, они радовались за нее в тот миг чистой, бескорыстной радостью...

Перед Таней распахнулись двери и тотчас же с жалобным звоном захлопнулись.

Она остановилась, ослепленная ярким светом. А они — посланцы родной толпы — окружили ее с криками: „Свобода! Свобода!“ и обняли ее крепким братским объятием. Потом все вместе они пошли к воротам тюрьмы.

Еще раз открылись старые железные двери и захлопнулись снова.

И закричала толпа восторженно и радостно, увидя Таню, — так что дрогнули стекла в большом белом здании, — как будто где-то близко упал старый утес.

Таня остановилась на миг и смотрела, как зачарованная, туда, где над волнами голов высилось знамя свободы, а потом быстро пробежала по широкой дороге между двух стен людей к гордому знамени и обняла его обеими руками и крепко прильнула губами к его древку.

Потом обернулась к людям, радостная и светлая...

Стеснились все вокруг красного знамени, где стояла бледная девушка, — грудь с грудью и плечо с плечом. Каждый хотел

видеть ее. Задние ряды стали требовать, чтобы подняли Таню наверх. Тогда несколько сильных рук подхватили ее и подняли над волнующимся морем голов, легкую, как перышко.

И стихла толпа. Тысячи восторженных глаз смотрели на Таню, и тысячи рук тянулись к ней с приветом.

Таня не различала знакомых лиц, но все они были ей, как родные, как самые близкие.

Рядом, поддерживая знамя, стоял высокий юноша в шляпе, и гордая улыбка сверкала на губах его:

И близок он ей был, этот юноша с гордой улыбкой...

А рядом с ним стоял пожилой еврей, такой приличный с виду. Он поднимал вверх крепко сжатые руки и, глядя на Таню, повторял:

— Они не будут больше вас мучить!.. Они не будут больше нас гнать!..

Таня знала, что в крике этом та мука и тоска, которыми многие-многие годы, как загнанный зверь, жил старый еврей...

Хотела она сказать ему, обиженному, радостное слово. Но ей не давали и говорить. Десятки рук обнимали и ласкали ее. Какая-то девушка, нарядная и веселая, бережно перевязывала ее пораненную руку и любовно целовала ее.

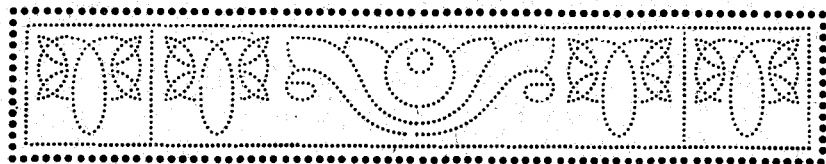
Таня смотрела на них и улыбалась им светлой улыбкой; долго-долго хотелось ей стоять так с ними, и смотреть в их лица, и слушать их. Думала она, как велика награда, и как ничтожны перед ней ее горькие одинокие муки...

Потом они пошли все дальше.

Таня шла впереди всех. Маленькие нежные руки ее сплетались на древке знамени с другими, мускулистыми и загрубелыми.

Пела огромная толпа одной грудью гимн о свободе. И громче всех звенел серебряный голос Тани.





А. СЕРАФИМОВИЧ

## У О Б Р Ы В А

### I



же посинело над далеким поворотом реки, над желтеющими песками, над обрывистым берегом, над примолкшим на той стороне лесом.

Тускнели звуки, меркли краски, и лицо земли тихонько затягивалось дымкой покоя, усталости под спокойным, глубоко синевшим с редкими белыми звездами небом.

Баржа и лодка возле нее, понемногу терявшие очертания, неясно и темно рисовались у берега. Отражаясь и дробясь багровым отблеском, у самой воды горел костер, и поплескивал на шипевшие уголья сбегавшей пеной подвешенный котелок, ползали и шевелились, ища чего-то по узкой полосе прибрежного песку, длинные тени, и задумчиво возвышался обрыв, смутно краснея глиной.

Было тихо, и эту тишину наполняло немолчное роптание бегущей воды, непрерывающийся шопот, беспокойный и торопливый, то сонный и затихающий, то задорный и насмешливый, но река была спокойна, и светлеющая поверхность не оскорблялась ни одной морщиной.

Всплеск рыбы, или крик ночной птицы, или шорох осыпающегося песку, или едва уловимый шум паровозного колеса, или почудилось — и снова дремотное, невнятное шептание, то замирающее и сонное, то встрепенувшееся и торопливое, и светлый, ничем не нарушимый покой реки под все густеющей синевой надвигающейся ночи.

— „Ермак“ никак идет.

— Где ему!.. теперича небось на „Собачьих песках“ сидит...

И человеческие слова, такие простые и ясные, прозвучали и погасли в этом непонятно-беспокойном шопоте спокойно-недвижной реки.

Короткая, притаившаяся у колебавшегося огня тень разом вытянулась, побежала от костра, уродливо перегнулась через обрыв и пропала в степном сумраке, откуда неслись крики перепелов и запахи скошенных трав, а над костром поднялся высокий, здоровенный, с длинными руками и ногами в пестрядиновой рубахе человек и, скинув ложку сбегавшую через края пену, ссыпал в бившую ключом воду пригоршню пшена. Вода мгновенно успокоилась, а тень, скользнув по обрыву, вернулась из степи и опять притаилась у огня. Длинный человек сидел, неподвижно обняв колени, глядя на светлеющую реку, на пропадающий в сумеречной дымке лес, дальний берег.

Поодаль на песке, протянувшись, неподвижно и мертво чернела человеческая фигура.

Не было видно лица.

Спал ли он, или думал, или был болен, или уже не дышал, нельзя было разобрать.

Уже потонул в темнеющей синеве и не стал видим лес, и поворот реки, и дальние пески, только вода попрежнему поблескивала, но уже черным, вороненым блеском, и звезды в ней бездонно повисли, яркие и бесчисленные.

И, казалось, так и нужно, чтобы в эту синюю ночь у дремотно-шепчущей воды возле обрыва горел костер, и красный отсвет трепетал, неверно озаря багровым светом костра высокую, нескладную, но точно выкованную фигуру человека, могуче охватившего руками колени, и неподвижно темную фигуру на песке, и третьего с широкой бородой старика, с спокойным и строгим лицом, отлитым из бронзы.

Как будто кто-то задумчиво без слов пел, и не было слышно голоса, и только представлялась потонувшая в ночной синеве река, и костер, и смутный обрыв, и в темной глубине чуть зыблемые звезды.

— Пришло время... жисть-то она человеческая, как трава полезла...

Голос был ровный, спокойный, медлительный, и так было спокойно кругом, что нельзя было сказать, кому принадлежит голос.



И среди ни на секунду не прерывающегося немолчного дремотного шопота голос, казалось, принадлежал синей ночи, как и угрюмо стоящий обрыв, как ропот воды, как костер с беззвучно ползающими по песку тенями.

— ...как трава молодая на провесень из черной земли...

— Нда-а... теперича полезла, ничем ее не уторкаешь.

И кто-то на том берегу смутно и неясно отозвался, слабая: ... да-а-а!

Сидевший, обняв колени, замолчал. Молчал и тот, чей темно-простертый силуэт смутно рисовался на песке. Молчал старик с бронзово-багровым шевелившимся лицом, изредка лениво вбрасывая в костер голыми руками выскакивающие оттуда раскаленные угольки, и в этом молчании чудилась недоконченная дума, думала сама синяя ночь.

Тонкий щемящий крик пронесся над рекой.

Опять тихо, задумчиво-сумрачно, снова непрерывающийся беспокойно-торопливый шорох-шопот бегущей воды. Молчал в наступившей со всех сторон темноте смутно поднимающийся обрыв, молчала степь за ним. Котелок лениво вскипал, сонно подергиваясь пеной.

Тонкий крик повторился против, над рекой. Летела над самой водой невидимая птица. Ночь теснилась со всех сторон, молчаливая и темная.

— По реке далече слышать... хошь у самого Кривого Колена и то будет слышно...

И оба наклонили головы, чутко ловя смутный неясный звук. Ухо хотело поймать приближающийся шум пароводных колес, но звуки ночи, тихие, неясные, тысячу раз слышанные и все-таки особенные и странные, говорили об отсутствии человека.

Горел костер, у костра сидели двое, третий недвижимо чернел на песке.

## II

Длинный поднялся, снял котелок. Тени засуетились, и одна опять скользнула вверх по обрыву и пропала в степи.

— Упрела.

Он поставил котелок и покрутил в песке.

— Часов девять есть... охо-хо-хо.

И за рекой кто-то „о-о-о“...

— Скажи парнишке, нехай садится с нами, вишь, охота.

Старик достал из кармана ложку и вытер заскорузлым пальцем.

— Эй, паря... хошь, поешь с нами, — длинный наклонился над неподвижно черневшей фигурой.

— А?.. а?.. а?.. куда... стой!.. братцы, держитесь!.. — закричал тот, вскакивая, трясясь.

— Что ты... что ты, парень... говорю, поешь с нами...

Тот обвел вокруг удивленным взглядом, не понимая этой темноты, смутно рисующихся контуров, этого ночного молчания, заполненного немолчно шепчущим ропотом, этого трепещущего красноватого поблескивающего в воде отсвета, и провел рукой, как будто снимал с лица паутину. Он точно весь обмяк и улыбнулся бессильной, измученной улыбкой.

— Ишь ты... опять попритчилось...

При свете костра поражала исхудалость и измученность, завалившиеся щеки, черные круги, горячечно блиставшие, беспокойные, как будто глядящие мимо предметов, глаза.

Сели кругом котелка, поджав на песке ноги, и стали есть и громко дули на кашу. И, повторяя движения, сутились по песку тени.

Долго и молча ели, и долго в дремотно-шепчущий ночной ропот чуждо вторгался звук усердно работающих человеческих челюстей.

Первая острота голода притупилась; парень, на лице которого землисто отпечатывался призрак смерти, вздохнул:

— У-ух-х... маленько отошел...

И опять улыбнувшись бессильной и измученной улыбкой, добавил:

— Два дня не ел.

— Да ты откуда?

— Из города, — и снова усталая и теперь доверчивая улыбка, — из самого из пекла вырвался. Как и вырвался, сам не знаю...

— Да мы это догадались, как ты еще шел по берегу, — усмехнулся длинный, — да не стали спрашивать, — что зря беспокоить.

— Не бойсь, ничего... По степи патрули разъезжают, хватают, которые успели из города убежать, ну схватят, разговор

короткий — пуля, либо петля, да мы не одного переправили... артель-то на баржах, да и команда на пароходе — свой народ... к нам вот не догадаются на баржу заглянуть, а... то бы была им пожива... Да ты в городу-то чем был?

— В типографии работал, — и он повел плечами, точно ему холодно было, и боязливо оглянулся.

Длинный черпнул, подул на ложку и, вытянув губы, с шумом втянул воздух вместе с кашей.

На реке завозилась ночная птица. Всплеснула рыба, но в темноте не было видно расходящихся кругов. Старик ел молча.

— Все по реке шел, как чуть чего — в воду... Вчёрашний день до самой ночи в воде сидел, закопался в грязь, а голова в камыше, так и сидел.

Он отложил ложку и сидел, осунувшись, и мысли, далекие от теплой ночи, от костра, бродили в голове, туманя глаза.

— Что было, страшно вспомнить... крови-то, крови!.. Народу сколько легло!..

И опять боязливо огляделся и передернул, как от холода, плечами.

— Устал я... устал, замучился, и... и не то, что руками или ногами, душой замучился, все у меня подалось, как обвисло...

И он опять обвел кругом, глядя куда-то мимо этой темноты, мимо костра, реки, мимо товарищей, — точно, заслоняя все, стояли призраки разрушенья, развалины, и некуда было итти.

— Главное что!.. — вспыхивая, заговорил он, — трудов, сколько трудов убито. Нашего брата разве легко поднять, да вбить в башку... Ему долби да долби, его учи да учи, а он себе тянется, как кляча под кнутом, с голоду сдыхает, да водку хлещет... Покуда все наладилось, да сгрудилось, сбились в кружки, да читать, да думать стали, да расчухали, ой-ей-ей, сколько времени, сколько трудов стоило!.. А сколько народу пропало по тюрьмам, да в ссылке, да на каторге, да какого народу!.. кирпич за кирпичем выводили, и вот трах-х-х!.. готово!.. все кончено!.. шабаш!..

И он отвернулся, и опять глядел, не замечая, мимо синющей ночи, мимо шепчущих звуков, мимо тихого покоя, которым веял дремлющий берег.

— А-а-а-а... — и он мерно качался над костром, сдавливая обеими руками голову, точно опасаясь, что она лопнет



Я. Чахров

МОСКВА. ПРЕСНЯ. 1905 г.

и разлетится вдребезги. И качалась тень, уродливая, изогнувшаяся, также держась обеими руками за голову, тоже уродливую и нелепо вытянутую.

Но, обходя развалины, разбитые надежды и отчаяние, о чем-то о своем немолчно и дремотно журчали струи, чуть-чуть глубоко колебалось во влажной тьме звездное небо. Несколько хворостинок, подкинутых в костер, никак не могли загореться, и едва уловимый дымок, не колеблемый, как тень, скользил вверх.

И этот покой, и тишина, погруженные в ночную темноту, были величаво полны чего-то иного, глубокого, еще не раскрытого, недосказанного.

— Глянь-ка, паря, вишь ты, ночь, покой, все спит, все отдыхает, — и голос старика был глубоко спокоен, — все, и зверь, и человек, и гад, трава и та примялась, а утресь опять подымется, опять в рост... Все покой, тишь... да-а!..

Над водой удалялись тонкие тилиликающие звуки, — должно быть, летели на ночлег кулички.

— Да-а, покой... Потому намотались за день, намаялись за день; намаялись, натрудили плечи, руки, лапы... во-о... ..А господь-то сказывает: отдохните, твари божии. И заснула вся земля, а на утресь опять каждый за свое, птица за свое, зверь за свое, человек за свое. Только солнушко проглянет, а тут готово, начинай сизнова. Так-тось, паренек.

Долго стояла тишина. Парнишка, сутулясь и подняв голову, глядел на дымчатую дорогу на небе. Длинный уписывал кашу.

— Дедушка, — болезненно раздался надтреснутый голос, — да ведь все на утро проснутся, а энти, которые в городе лежат, ведь они-то уж не подымутся.

— А ты ешь, паренек, ешь, — говорил старик, вытирая ладонью усы и бороду, — да-а... мужичек хресьянин вышел пахать. Вспахал, вспахал, взял лукошко и зачал сеять. Высеял, заскородил, дождику господь послал, и догнало из земли зелена, погнало, словно те выпирает. Да-а, радуется хресьянин. Нашему брату что, вспахал, посеял, сбрал и сыт. Да-а. Колоситься зачало. И вот, откуда ни возьмись, туча черная, пречерная. Вдарила грозой, градом все дочиста сравняло, где хлеб был — одна чернота. Вдарил об полы сердяга! Что же,

думашь, бросил, руки опустил? Не-ет, ребята-то бесперечь есть хотят. Пошел на чугунку, на чугунке стал зарабатывать. И отрежь ему колесами ноги. Поболел, поболел и богу душу отдал. Что же, думаешь, тем дело кончилось? Не, слухай, парень. Нивка его не осталась сиротой, зачали ее пахать, да сеять братаны да зятя. Опять пробились зеленя, опять стал наливаться колос. И сколько ни изводили мужика, и на войну-то его гнали, и по тюрьмам гноили, и нищета давила, и с голоду пух и помирал, а каждую весну зеленели нивы, да-а.

Он помолчал.

Стояла сама себя слушавшая тишина.

А?

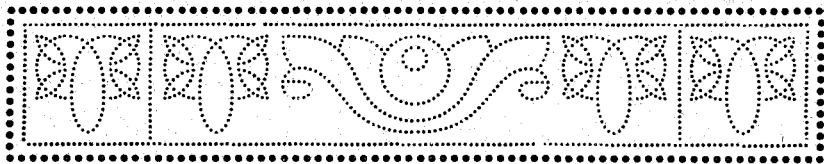
И кто-то внимательный полувопросом, полуутвердительно отозвался из-за реки: а-а-а!.. Парнишка молча стал носить из котелка.

— Ишь, звезда покатила, — проговорил длинный и рыгнул.

— Так-тось, братику, сколь ни топчи траву, она все выпрямляется, все тянется кверху. Глядим мы на тебя давеча, идешь ты, ковыляешь, глядишь исподлобья, и кажут тебе во-круг только вороги, и к нам ты подошел и нас боишься. А мы сметили давно, что ты за птица, да я Митюхе говорю: не трожь его, пущай обойдется. Ан вот теперь и оказалось... Вона у нас, — старик мотнул головой на баржу, — чего хошь, в каждой деревне выгружаем, пущай народ любопытствует, пущай трава выпрямляется... Охо-хо-хо!

И за рекой: „хо-хо-хо-о“!..





С. ВАСИЛЬЧЕНКО

## ПЕРВАЯ ПРОКЛАМАЦИЯ

**В**есной умер Мотькин отец. Он простудился на дежурстве и заболел воспалением легких. Его отправили в соседний город, где находилось правление и приемный покой железной дороги, на которой служил стрелочник. Оттуда мать получила телеграмму о его смерти и съездила с Мотькой схоронить покойника.

От покойного отца Мотьки в семье оставалась одна наследственная ценность — казенный кожаный стрелочника, полученный им незадолго перед смертью.

Отнесла этот кожаный Максимовна одному нескладному мастеровому железнодорожных мастерских — рессорщику Моргаю, или иначе — Евдокиму Моргаю, договорилась с ним о хлопотах насчет сына и, получивши у него обещание устроить мальчугана, сообщила об этом Мотьке.

Мотька поднял голову вверх.

Через несколько дней после этого прибежал во двор Максимовны, запыхавшись, сам Моргай, чумазый здоровяк. Он явился в замусоленной одежде, сорвавшись, должно-быть, прямо с работы. Увидев Максимовну, он воскликнул: „готово!“ И после этого объяснил, что его протеже требуют с паспортом в контору мастерских.

Мотька разыскал паспорт, пока Моргай наскоро выпивал стакан чаю, и затем устремился с рессорщиком к мастерским. Сам себе не верил Мотька, что он поступает в мастерские, когда, очутившись в конторе кузнечного отделения, он отвечал высокому мастеру инженеру Стразову, что фамилия его Юсаков, что он грамотен, что в феврале ему исполнилось 16 лет.

Ответы и внешний вид Мотьки удовлетворили мастера, но Мотьке еще нужно было на следующий день пройти медицинский осмотр в отделении железнодорожного приемного покоя. Ему выписали бюллетень и сказали, куда идти.

Здесь тоже все сошло благополучно, и после этого Мотьке дали рабочий номер.

И вот наступил день, когда Мотька, поднявшись в пять часов утра, направился к Евдокиму Моргаю, а оттуда с ним в мастерские. Взяв медные номерки в проходной будке, через которую уже вливались лентами тянувшиеся на работу группы мастеровых, Моргай и Мотька прошли в кузницу.

Они проходили по насыпи искусственной, мощеной площадки, между закопченными складочными заводскими зданиями. Тут лежали кучи железного лома и нового железа. Рядом с бортом площадки, которая вела к входу в кузницу, пересекался десяток подъездных рельсовых линий, по которым маневрировали пара „кукушек“ и паровоз. За линиями возвышались здания других цехов. По самой площадке шла колея линии для подвоза груза ручным способом. От проходной будки по разным направлениям в здания двигались группы рабочих, казавшихся козявками среди кранов, проводов и корпусов, поднимавшихся и распространявшихся так, что домики поселка сзади большого двора мастерских казались разбежавшимися в закоулки и бугры. В кузнице точно так же в первую очередь поражал контраст между суетливым муравейником казавшихся букашками людей и колоссальными размерами помещения. Паровые молота—большие двухколонные великаны, с неуклюже взятыми в медные обручи цилиндрами—торчали до самых потолков. И таких молотов, высоко нависших над суетящимися внизу фигурками, в кузнице было восемь. Мимо них, разделяя продольно на две равные части все помещение, проходила на колоннах из рельсов центральная система воздухогонных, нефтеносных и паровых труб. По некоторым из этих труб легко могли пройти два человека. Горны, покрытые зонтами, конусообразно идущими вверх, были также обвиты трубами, но уже более тонкими, если не считать тех, которые поднимались вверх и глотали из горен дым. Между горнами—проулучки. В проулучках деревянные короба с крупными инструментами и на них шкапчики для провизии и чайной посуды



мастеровых. Возле горнов—наковальни, железный материал, наново откованные паровозные и вагонные части, то крупные в виде пятидесятипудовых поршней, то мелкие—в виде гаечных барашек для замыкания болтов. Кроме обыкновенных кузнечных горнов, в кузне были еще особые печи для специальных работ. В одном конце уперлись тылом в поперечную стену два сварочные пекла, доводящие металл до жидкого состояния, а в углу на противоположном конце возле маленького молота была расположена рессорная печь с равномерной температурой для легкого нагрева стали.

К этой печи, усадив подростка на приспособление для рессорных работ, привел Мотьку Евдоким Моргай, оставив его тут, пока начнут работу кузнецы, являвшиеся к своим горнам и вытаскивавшие из коробов инструменты.

Пока работа не началась, звуки отдавались в этом огромном помещении с странной четкостью; мастерские нехотя перекликались, обмениваясь утренними приветствиями и замечаниями, и Мотька, присматриваясь к ним, поворачивал голову то в одну, то в другую сторону.

Но вот прогудел третий гудок в какой-то далекой кочегарке мастерских. Через дыру кузнечных ворот стало вливаться в кузню больше людей. Почти через мгновение после того, как смолк гудок, возле Мотьки, за Мотькой и где-то впереди, раздался одновременно гудящий шум. Что-то пробежало по большим трубам и с них осыпались кусочки обволакивающего их асбеста и пыль. Еще через секунду прибавился какой-то новый шум. Теперь слегка тронулись менее мощные паровые трубы; кое-где во фланцах, которые соединяют стыки труб, слегка зашипело и запарило. Возле горнов кузнецы начали зажигать концы пакли, пропитанные нефтью. Сразу в нескольких местах под железными зонтами начали летать вверх раскаленные уголинки, кузница стала в то же время заволакиваться дымом. Тох! Тох! Тох!—застучал вдруг какой-то выскочка ручник по наковальне. Так! Так!—стукнули кувалды. Так! Еще раз!

— Та-та-та-та-та!—затрещали как по команде десятки молотков сразу в разных местах.

— Бух! Бух!—заговорил, начиная работу, и молот.

Еще несколько минут, и кузница была в полном ходу. От утренней прохлады не осталось и следа. Воздух стал

накаляться. От движения, биения огня, звона, угольного смрада помещение, где работала пара сотен человек, уже к десяти часам утра превратилось в клокочущее пекло. Сами люди разгорячились, глаза у них начали гореть гипнотизирующим блеском, лица накалились так, что на них краснели даже сажа и копоть, а на всем теле выступал пот, после которого рубашки покрывались солью и несносной тяжестью висли на спинах.

Мотыка приглядывался и убеждался, что после Московской улицы он в мастерских словно в каком-то новом мире.

Как только в цехе показался монтер Садовкин, под командой которого находилась артель слесарей кузнечного отделения, Моргай, уже давно начавший с другими рессорщиками работать, кликнул Мотыку и подвел его к будущему его начальству.

— Это мой родственник, Иван Кузьмич, Леонид Сергеевич принял его в кузницу. Велели, чтобы вы определили...

— Магарыч, — подмигнул Садовкин Моргаю. — Идем, родня. Как фамилия?

— Юсаков! — И Мотыка последовал за низким, коренастым монтером, командовавшим артелью подростков и несколькими мастеровыми.

Садовкин провел его мимо горнов в противоположный от рессорной печи угол кузни, где почти рядом стояли два небольших молота, указал на один из них Мотыке и кивнул работавшему на нем мальчугану, дождавшись, пока тот кончил бить кузнецу ковку.

— Возьми, Солдатенков, этого товарища и покажи ему, как работать. Будет учиться у тебя.

И, не останавливаясь, он пошел дальше.

Мотыка подошел к рыжему мальчугану, которого монтер назвал Солдатенковым.

— Становись рядом, смотри! — крикнул тот, пересиливая шум, чтобы Мотыка слышал. — Когда под молотом ничего не будет, буду учить...

Мотыка стал. Уже через минуту рыжий подросток объяснял ему:

— Эта ручка только для того, чтобы пустить пар к молоту. Ее надо перевести, пока работа идет, и пусть она без движения стоит. Этой ручкой, — указал он на рычаг, ведущий

к золотнику цилиндра, — регулируется движение. Ее нужно держать в руке твердо и не упускать. Попробуй!

Мотыка оглянулся, не смотрит ли кто-нибудь из кузнецов, и робко взял рычажок в руки.

В ту же секунду рычажок, как живой, задергался у него в руках, а молот со звоном забухал по голой наковальне.

— Не можешь, — сказал рыжий, схватывая рычажок и поднимая молот для появившегося с раскаленной полосой кузнеца. — Смотри, как я буду бить... — и он без единого слова команды кузнеца, не перестававшего вертеться и вертеть под ударами молота работу, начал то редкими ударами приглаживать полосу, то мелким и быстрым боем оттягивать и приравнивать ее, как-будто знал заранее, чего именно хочет от него вздохмаченный, подергивавший плечами в такт движению рук, с видом завязатого работяги, кузнец.

— Новый! — взглянул тот вопросительно на Солдатенкова, ткнув при этом клещами в сторону Мотыки.

— Новый! — подтвердил рыжий товарищ Мотыки.

Кузнец покровительственно кивнул головой, взглянул еще раз на Мотыку, и посторонился, чтобы пустить под молот кузнеца с молотобойцем, подскочивших оттягивать спицы для колес из накаленного добела железа.

Рыжий быстро заработал рычажком, и вокруг молота начал лететь фонтан огненных брызг. Молотобоец и кузнец щедро поливались ими, но, несмотря на обжигавшее их дыхание каленого железа, волочили его по наковальне то от себя, то к себе, перекидывали со стороны на сторону, подкладывали то конец, то середину и, наконец, только тогда, когда оно совсем почти стало синим, остановились, чтобы перевести дух. Но в это время другой кузнец уже подал под молот новую работу, и рыжий снова принялся за рычаг, и так — до самого перерыва на завтрак, потом на обед и потом до шести часов вечера, когда кончали работы.

Как только загудело где-то на завтрак, рыжий Солдатенков, схватив эмалированную кружку и налив в нее чаю из чайника одного кузнеца, устремился к группе рабочих, начавших устраиваться на коробке возле ближайшего горна для игры в карты. Кузнецы и молотобойцы, видно, очень любили играть в „короля“, и в разных местах кузницы они одновременно

и завтракали и, держа в руках веера замусоленных карточных „святцев“, переругивались и азартно дулись с партнерами.

Другие рабочие чинно закусывали картошкой, воблой или колбасой, запивая горячей жидкостью из своих кружек завтраков. Было несколько таких счастливицев, у которых были пирожки и даже лимон к чаю. Кое-кто из рабочих прилег на коробах с инструментами минут на двадцать передохнуть.

Мотыка позавтракал возле молота застуженной рыбой и редиской, которые ему положила мать, выпил чаю, присоединившись к артельному чайнику рессорщиков.

Когда прогудел гудок, Солдатенков вскочил и кивнул головой Матвею: — Идем!

В течение десяти минут, пока кузнецы нагревали остывшие за время завтрака горны, Солдатенков объяснил Матвею процесс работы на молоте и в заключение дал попробовать ему управлять рычажком.

Матвею, наконец, удалось правильно поднять молот, стукнуть им несколько раз с неуверенными выдержками и остановить, а затем еще стукнуть и остановить.

Первый успех был налицо. После обеденного перерыва урок повторился. То же делалось в течение нескольких последующих дней, и скоро новичок стал работать, сменяя Солдатенкова сперва урывками, а затем, на равных правах, чередуясь с ним ежечасно.

Матвей, выглядевший в это время уже определенно сложившимся здоровяком-подростком, начал присматриваться к жизни кузнечного отделения, а затем и других цехов.

Матвей работал в кузнице уже месяца три. Научился работать на большинстве молотов. Познакомился со всеми мастеровыми артели Садовкина. Знал каждый уголок кузни. Начал понемногу слесарничать на отделке частей для машин. Работал сплошь и рядом вечерами и в воскресные дни, чтобы выработать на рубль больше.

В это время он начал призадумываться над своим положением: что толку из того, что он сделается через год—два лучшим слесарем и затем начнет бродить по заводам.

Правда, интересного в тех человеческих массах, которые заполняли мастерские, было не мало. Жизнь тут царила трудовая, артельная. С первого же дня Матвея, не взирая на то,

что он был подростком и только учился еще работать, все стали называть товарищем. Через несколько дней уже после того, как он поступил, его фамилия начала аккуратно фигурировать в табелях заработка, отмечавшегося возле доски, на которой вывешивались номера рабочих. Но что из всего этого было Матвею, когда, заглядывая в будущее, он не видел никакого смысла в вечной работе во имя того, чтобы сомнительно обеспечить свое существование на следующий день.

Он глядел на старого кузнеца Скларова, работавшего в мастерских со времени их основания. Скларов работал здесь и в такое хорошее время, когда рабочим, чтобы удержать их, поднимали заработную плату. Благодаря этому, Скларов, подобно полдюжине других пожилых кузнецов, получал четыре рубля в день. Он имел собственный домик уже. Но и Скларов, для того, чтобы этот дом не проесть, должен был работать, как вол.

С двумя молотобойцами он бегал то к наковальне, то к паровому молоту, ворочал тяжести, клевал разогретое железо ручником, правил ударами молотобойцев в течение четверти часа, пока железо не застывало, а затем, когда становился весь мокрым и красным, как-будто его тоже только что хорошо нагрели в горне, подымал с полу ведро холодной воды и через край выливал себе в горло добрую его часть. Этот старичина действительно же был здоров, как богатырь, когда его не брала никакая простуда! После такого охлаждающего приема он полминуты отдыхал, а затем снова набрасывался на ковку железа.

— Неужели всю жизнь так? — снова и снова спрашивал себя Матвей.

Работа слесарей не была такой отчаянной. Слесаря, за некоторым исключением, работали обычно с прохладцей. Труд возле верстаков не требует такого напряжения физической силы, как движение кувалд или ворочанье клещами с ручником в руках. Но разве от этого дело было лучше, если слесаря могли приработать что-нибудь только сверхурочной работой? Разве, в итоге, можно было кому-нибудь из них мечтать хотя бы о маленьком перерыве, о недельном отдыхе? Отдых могла принести безработица или болезнь, но этого все рабочие боялись до того, что избегали даже думать об этом.

Стоила ли, наконец, такая жизнь того, чтобы так зверски работать, как это приходилось делать в мастерских?

Матвей не мог этого допустить и тем больше мучился новыми вопросами.

Хотя Матвеем и казалось, что есть все же люди, которые что-то о смысле жизни знают, присматриваясь вокруг, но он таких людей не находил.

Ему самому делалось несколько раз смешно от того, что он так много думает о том, на что никто другой, казалось, не обращает внимания.

Но юноша совершенно неожиданно нашел ответ на свои вопросы.

Однажды, — это было уже осенью — Матвей, придя сравнительно рано на работу, направился в стоявшую за кузницей дежурку, где сходились явившиеся до гудка кузнецы, чтобы побалагурить с бывалым кладовщиком Арефьевым из старых солдат, который с помощником, молоденьким конторщиком, приходил обычно еще в четыре часа утра, чтобы выписать кузнецам материалы по требованиям, поступившим к нему с вечера.

В маленькой дежурке, образованной из корпуса товарного вагона, когда вошел Матвей, горела лампа; на чугунной печке грелся чайник, а возле стола, кроме самого Арефьева, сидели, близко склонившись друг к другу, кузнецы: Василий Терентьевич Соколов и Мокроусов, бандажник — кузнец Простосердов и мотобоец Воскобойникова — Качемов.

Всех их Матвей знал уже, так как он обычно работал для них то под тем, то под другим молотом.

В свою очередь, кузнецы выделяли шустрого мастерового из среды таких же, как он, подростков, подметив, что Матвей был серьезнее своего возраста и чего-то ищет.

Когда Матвей открыл в дежурку дверь, — все сидевшие за столом отшатнулись от лампы и взглянули на вошедшего.

Одно мгновение они нерешительно молчали, очевидно, прервав какое-то занятие. Затем Мокроусов, угрюмый, похожий на цыгана мужчина, отличавшийся тем, что в рабочее время обычно он ни с кем не разговаривал и злобно огрызнулся от тех, кто к нему обращался, в праздники же пил водку, пиво и спирт, как верблюд воду, повел мутными глазами на Арефьева и отрывисто-хрипло буркнул:

— Продолжай. Не съест!

Бандажник Простосердов одновременно кивнул головой кладовщику: — „Можно, наш мальчишка!“ Остальные тоже, очевидно, препятствия в приходе Матвея не видели, и Арефьев, положив на стол какой-то печатный листочек, начал продолжать прерванное было чтение.

Матвея заинтересовала таинственная сообщническая обстановка, которую было нарушил его приход, и он, тихонько



Б. Владимирский

РАБОЧИЕ

подсев ближе к читающим, внимательно начал слушать. Часть прочитанного он пропустил, но и того, что он услышал, было вполне достаточно, чтобы он почувствовал, что у него в голове вдруг все закружилось, подобно маховому колесу.

Все, что было раньше прочитано, продумано, пережито и прочувствовано, всколыхнулось. В этом печатном листке, который боязливо читали бородачи-кузнецы, шла речь именно о тех вопросах, которые больше всего мучили Матвея: должны ли рабочие, которых листок называл пролетариями, всю жизнь нести каторгу работы и влачить за это вечное нищенское существование, или они могут мечтать о действительно человеческой жизни.

Но что же это был за листок, который ставил так прямо те вопросы, на которые до сих пор Матвей не находил ответа, и ставил их никому другому, как именно рабочим же, давая на них ясные ответы.

Матвей затаил дыхание и слышал чтение, жадно глотая каждое слово.

Арефьев кончил чтение. Кузнецы оторвались от стола.

— Да, — сказал словоохотливо Простосердов, делая из махорки цыгарку и передавая кiset с табаком Мокроусову. — Правда-то оно правда, жизнь собачья, но один рабочий в поле не воин. А у нас и совсем нет таких, чтобы темной кареты не испугались и добивались этого социализма.

— Не все испугаются, — придирчиво буркнул Мокроусов.

Остальные молчали. Соколов, неопределенно оглянув Простосердова и Мокроусова, поднялся:

— Сейчас рявкнет нам Соловей-Разбойник. Пойдем посмотрим, что сегодня нашему начальству снилось по поводу прокламаций. Идем, Кузьма.

Он и Простосердов пошли, за ними поднялись другие. Матвей вдруг решил опередить всех и догнал Мокроусова. Он видел, что Арефьев после чтения сунул листок свирепому нелюдиму, и тот его спрятал.

— Товарищ Мокроусов! — остановил мастеровой необщительного кузнеца. — Очень прошу вас, дайте мне листок прочесть!

Мокроусов взглянул на подростка из своих провалившихся глазных ям, до половины скрытых бровями, улыбнулся большой нижней губой, но, ничего не сказав, вынул из кармана листок.

— На, только смотри, чтобы никто не видел, принесешь обратно, и не говори никому, что брал у меня читать, иначе на тебя же все я сверну потом. Скажу, ты мне подбросил.

— Ладно!

Матвей не стал спорить, и направился было к своему молоту, но уже близко было к началу работы. Намереваясь под прикрытием молота усесться читать, Матвей оглянулся и увидел, что возле ближайшего горна Васька Качемов выбрасывает из короба инструмент, а Воскобойников, бросив на наковальню рукавицы, подвязывает дерюгу фартука и готовится закладывать железо в горн, попутно сквернословя в виде приветствий



дружно собирающимся вблизи соседям. Ко второму молоту, стоящему рядом с Матвеевой машиной, подошли работавшие на нем будущие слесаря Архип Карпенко и сверстник Матвея Лисичанский. Матвей решил воспользоваться несколькими минутами времени перед началом работы и направился в кузнечную кочегарку, где артелью подростков накануне был оставлен на печах различный инструмент и поэтому никто не мог заподозрить, что Матвей находится там без дела. Действительно, ему здесь никто не помешал.

Когда Матвей возвратился оттуда, он был всецело под впечатлением прокламации. Он словно бы переродился и все рабочие цеха казались ему теперь новыми людьми. Это уже были не распыленные единицы мастеровых и подмастерьев, из которых одни были домовладельцами, хотя и продолжали тянуть поденщину, а другие не имели и хлеба вдоволь, чтобы быть сытыми, а все они были людьми одного общего классового положения—пролетарской массой.



И. ДАНИЛИН

## М И Х Е Й

### I



абочие сначала таинственно шушукались, осторожно озирались, потуплялись и мгновенно принимали озабоченный, деловой вид при начальстве, а друг на друга смотрели радостными взглядами, значительными и без слов говорящими о том, что было важно и дорого для всех их.

И лица, прежде равнодушные, покорные, робкие, стали подвижными, смелыми, точно это были не лица, а рисунки учеников, до которых дотронулся карандаш великого художника и сразу придал им и жизненность и силу.

Потом стали ронять слова, таинственные, жуткие, а в глазах вспыхивала отвага, и короткие слова от того казались огромными, убедительными.

И как отзвук прежнего гнета, кое-где замирая, шипел шопот трусливых и робких.

Но страх рухнул под напором того нового, что, казалось им, охватило их всех, во что они уверовали слепо и сразу, к чему они ранее прислушивались, как к томившей их грезе, и чему теперь отдались, как первой любви.

И, как первая любовь, оно опьянило их.

И скоро почти все говорили уже безбоязненно о правах, о правде, о борьбе, говорили, сверкая возбужденными лицами и обжигая огнем счастья и отваги в горевших глазах.

Главные мастера ходили насторожившись, чутко прислушиваясь к тому огромному, новому, властному и жуткому, что всколыхнуло рабочих, и не веря еще и уже боясь, делали вид, что не замечают непорядка, вносимого появившейся вольностью.

Кладовщик Михай, неразговорчивый и хмурый старик, с серой, точно покрытой густым слоем пыли каймой волос и глубоко ушедшими в орбиты, как бы от постоянной думы, глазами жадно, но молча прислушивался к разговору рабочих. И по серому землистому лицу его скользило подобие радостной улыбки.

Михай был старик бесхитростный и преданный конторе за совесть и за страх.

Лет 20, как ему оторвало машиной два пальца, и из мастера он превратился в сторожа и обхаживал по ночам в стужу, в грязь и дождь вокруг фабричных амбаров. А потом, когда он простудил ноги, его перевели кладовщиком в товарную. И всю свою жизнь после потери пальцев он жил под давящим впечатлением, что он уже не настоящий работник и что держат его из милости. И оттого он стал задумчив, молчалив, труслив и угрюм. Он никому ничего не говорил, но то время, когда он был рабочим и стоял за станком, казалось ему светлым солнечным днем, а его настоящее — хмурой осенью. И часто с грустью и мучительной завистью Михай смотрел на молодых, здоровых и ловких рабочих, и казалось ему, будь у него целы пальцы, он был бы, как они, бодрый, веселый и молодой.

## II

В одно утро кто-то подошел со двора к форточке и властно сказал:

— Товарищи, кончайте!

Не видели, кто был, но приказ запечатлели отчетливо. Это было то, чего все давно ждали, о чем страстно и много говорили, что считали необходимым, но чего не решались сделать сами, думая, что для этого нужно что-то еще, особенное.

Но теперь не рассуждали, а коротко, как лозунг, передавали распоряжение один другому и моментально подчинились слову и смотрели друг на друга, немного сконфуженные необычайной простотой того важного и значительного, что составляло их силу, и новизной положения.

И смущенные, не зная, что делать, топтались на одном месте и обрадовались, что можно было что-то сделать, когда среди наступившей тишины нескладно еще гремела какая-то запоздавшая машина; и, обрадованные, торопливо закричали в десятки голосов и замахали руками:

— Кончайте, кончайте! Не видите, что все остановились!  
А от гремевшей машины отозвался голос, сердитый, глухой, старческий:

— А чего видеть-то?

И не знали, что ответить на простой вопрос, и смотрели друг на друга с удивлением.

Выручил подросток, юркий, радостный, сновавший по мастерской, как вьюн в аквариуме.

Он звонко и весело прокричал:

— А вот поговоришь, — так банок наставим!

Это показалось старику убедительным, он покорился и остановил машину.

Оборвавшийся механизм жизни фабрики сразу отдался во всех концах корпуса.

Стало тихо-тихо и как-то жутко и необычайно.

Пришел управляющий.

У него нервно кривились губы и от того шевелились пушистые холеные усы, а в глазах бегали огоньки тревоги, но он старался казаться спокойным, как бы ни о чем не догадывающимся, шел по фабрике не спеша, подходил к машинам, смотрел на товар и, только подойдя к рабочим, как бы вскользь спросил:

— Отчего встали?

Старые рабочие жались друг за друга, растерянно улыбались и молчали, избегая смотреть на управляющего.

Сказал кто-то из толпы и сказал спокойно, деловито:

— Забастовка!

И странно прозвучало это слово среди напряженной и как бы притаившейся тишины.

Точно кто-то неведомый, но властный и могучий, смело сорвал завесу с того запретного, что было дорого всем им и на что ранее они не дерзали смотреть.

Все дрогнули, оживились и смело, с улыбкой торжества, взглянули на управляющего.

Управляющий побледнел и, сорвавшись со спокойного тона, торопливо выбросил слова:

— Чем недовольны, чего просите?

И холодными, злыми глазами уставился на подвернувшегося старого работника и, смотря на его сухую, хилую фигуру, с презрением подумал о нем:

„В могилу пора, а туда же, бастует!“

Под пристальным злым взглядом управляющего старик растерялся, съежился и торопливо забормотал:

— А шут их знает, чего они хотят, я тут не при чем!— и, скользнув за толпу, деловито и серьезно стал вытирать о фартук грязные руки.

Управляющий выжидательно перебегал глазами то на одного, то на другого, а рабочие молчали.

И молчание тяготило и казалось загадочным, жутким, напряженным.

Молодежь усмехалась, блестела оживленными взглядами, а в движениях их уже не было того обычного страха, к которому так привык управляющий, и это пугало его, и от того люди казались ему новыми, отчаянными.

И, нарушая тягостное молчание, опять кто-то из толпы сказал:

— Мы еще не сговорились.

Снова что-то загадочное и страшное почудилось управляющему в этом ответе.

В одно мгновение он ощутил и страх перед грозным, новым явлением, и какой-то неведомый ему ранее подъем напряженности, и упорное желание не показаться трусом. А с лестницы тем временем спустился кто-то чужой, молодой, с энергичным лицом, в пальто, наглухо застегнутом, и в шапке. В его фигуре и походке было что-то особенное, уверенное, смелое. Взглянув на него, управляющий инстинктивно почуял в нем врага.

„Агитатор“—мелькнуло у управляющего, и, нахмурившись, он пошел ему навстречу и, преграждая дорогу, строго спросил:

— Вам здесь что угодно?

— Переговорить с товарищами!—гордо и спокойно ответил пришелец, слегка отстраняя его с дороги.

„Вот этот знает, что надо им говорить“—со злобой и завистью подумал управляющий и, возмущаясь его спокойным сознанием своей силы и тем, что сам он теперь уже упустил момент повлиять на рабочих, он, повышая голос и багровея от негодования, выкрикнул:

— Посторонним лицам вход на фабрику воспрещен!

— Я—не посторонний, а депутат с самохваловской фабрики,—спокойно ответил молодой человек и, не обращая

внимания на преграждавшего ему путь управляющего, громко обратился к рабочим:

— Товарищи! Я прислан к вам обсудить наши общие требования, а вот этот человек не дает мне говорить с вами. Товарищи, вы должны сказать ему, что он не имеет права вмешиваться в наши дела!—раздался его металлически звенящий и страстно возбуждающий голос.

— Долой управляющего!—крикнуло несколько голосов.

Толпа загудела, зашевелилась глухо, но грозно, и то прежнее, что держало их, сотни людей, в подчинении этому человеку, оборвалось, упало и бесследно исчезло, точно провалившись сквозь землю.

Управляющий остро ощутил это вспыхнувшее настроение и быстро ушел. А там, внизу, начался митинг.

### III

Михей тоже вышел из кладовой. В толпу он не пошел, стоял в отдалении, но так, что ему было все видно и слышно. Он слушал, а внутри его глухо бродило что-то жуткое и радостное, по телу пробегали мурашки и какая-то неотразимая сила приковывала его и к толпе и к говорившим. Он весь отдался вниманию, и в глубоко впавших глазах его светилась трудная, непривычная для него работа мысли.

Молчаливый, угрюмый, неумевший и боявшийся говорить, он думал раньше, что все рабочие испытывают то же чувство беспомощности, когда случится говорить не с одним человеком, а потому страшно был удивлен, увидав, как многие из рабочих, которых он знал за самых простых людей, взбирались на боченок и начинали говорить, и говорили так складно, понятно и близко ему, точно говорил он сам с собою.

И Михей, пораженный такой неожиданностью, шептал, качая головой:

— Поди же ты! а ведь, кажись, из одного со мной теста слеплены!

Целых два часа говорили рабочие, а потом фабрика опустела, и Михей запер за ними двери.

Пока стояла фабрика, Михей ходил по покинутому корпусу, и жутко ему было и гулко отдавались в пространстве шаги его. А по сторонам угрюмо стояли машины, и тишина, какая-то

зловещая тишина, пугала его. За свою долгую жизнь он хорошо умел различать тишину. Она была разная. В обед тишина была какой-то напряженной, готовой каждую минуту возобновить ритмическое дыхание машин и лязг приводов. Ночью тишина была покойной. Чувствовалось, что наступил продолжительный отдых, и в тишине уже не было напряженности и притаенности. В праздники была опять-таки особая тишина, кроткая, смиренная, точно и сами железные рабы чувствовали, что в праздники необходимо отдыхать. К тому же на праздники машины покрывались чехлами, и оттого на них лежал отпечаток заботливого покоя.

Теперь же чугунные и стальные скелеты стояли брошенными без призора, невычищенными, не покрытыми чехлами, остановленными на середине работы, и чувствовалось в них какое-то бессилие, и уже не казалось, как, например, в обеденную остановку, что вот-вот сейчас снова замелькают шкивы, задвигаются приводы, загремят шестерни и шум рабочей жизни всколыхнет громадное здание.

Михей ненавидел машины и боялся их.

Пока он имел на руках все пальцы и работал на машинах, он относился к ним безразлично, но с тех пор, как на одной из них ему оторвало два пальца, он почувствовал в них беспощадность и силу, и стали они казаться ему чудовищами, живущими своей, им одной понятной, жизнью. В разнообразном стуке их ему чудился их говор, злой и холодный, которым они переговаривались между собой.

Когда машины стояли без движения, тускло поблескивая своими стальными гладкими полированными частями, Михею казалось, что чудовища притаились и кажутся мирными, дремлющими, чтобы подманить какого-нибудь простачка в роде него и слопать у него руку или пальцы. И даже к спокойно стоящим, к ним он перестал подходить близко. Но когда надевались приводные ремни и давали сначала тихий ход, Михею казалось, что чудовища, недовольные прерванной дремотой, заводят сердитое, угрюмое ворчанье: съем... съем... съем... И, переходя на большой ход, уже в конце разозлившись, изрыгают на разные голоса беспощадно и злобно: съем, съем, съем... съем, съем, съем... И чудилось Михею, что для этих чудовищ не было уже ничего святого и заветного. Они одинаково могли

слопать и простого рабочего, и мастера, и директора, лишь бы человек оплошал и не поостерегся. Это ужасало Михея и приводило в какой-то безрассудный страх перед ними. И даже проходя далеко от гремящих чудовищ, он инстинктивно одергивал рубаху и фартук и крепко сжимал их руками на бедрах, точно боясь, что даже издали они могли снова втянуть его в себя.

И теперь он с любопытством и чувством неведомой жути и новизны осматривал хорошо ему знакомые машины и, видя их бессилие и беспомощность двигаться одним без тех склонившихся сухих, худых и грязных фигур, именовавшихся рабочими, усмехаясь ехидно, говорил, обращаясь к ним:

— Что, встали! За человеком-то вы сильные, а вы вот попробуйте, без человека двиньтесь! Да, попили вы людской крови, чуть что — пальцев, али руки и нет, жизнь-то человеческая и на смарку шла. После таких ваших ласк от человека одна видимость остается. А вам и горя мало, — съели человека, как будто так и надо. Нет, вы вот теперь попробуйте съесть, али двинуться! Что, не можете, хо-хо-хо! Не можете!

И старик с каким-то удовлетворением тихо смеялся, и замирал его смех в длинном пустом корпусе.

Прошел день, другой, третий. Рабочие приходили утром на двор, в мастерские не входили и обсуждали свои дела. А из конторы, прячась в простенках окон, смотрел на них управляющий и с нервной дрожью нетерпения и страха ждал, что-то они выработают.

На четвертый день требования были написаны и представлены конторе.

А вечером был совет у управляющего с хозяевами.

Потом при посредстве управляющего началась торговля между хозяевами и рабочими. Торговались два дня, и требования были удовлетворены.

На работу встали ликующие, довольные. Говор радостный и задорный свободно раздавался по мастерским, а лица светились торжеством победы.

Администрация как-то сжалась, мало показывалась и, видимо, старалась не мозолить глаз.

Рабочие чувствовали себя свободными. Выбрали депутатов, и жизнь фабрики слилась с общей жизнью остальных



фабрик, и что было там, теперь уже в полной мере отражалось и здесь, как в организме, связанном одними нервами, одним дыханием.

#### IV

Все на фабрике жили шумно: обсуждали, волновались, негодовали, торжествовали и бранились, только один Михей, казалось, стоял в стороне от горячки жизни и молчаливо ходил по своей товарной.

Он был ошеломлен тем, что увидал и услышал на митинге в первый раз за всю свою жизнь.

Робкий, трусливый, забитый, с неотвязно преследовавшей его мыслью, что он — не работник и что держат его из милости, он не участвовал в днях подъема, но душа его все же была полна радостного ликования. Он искренно поверил, что, наконец-то, наступила настоящая свобода. Самому ему свобода была не нужна. Он сознавал, что уже стар, что жизнь его съедена фабрикой, что она ушла в эти громадные каменные стены и что жить той новой жизнью, какую принесла с собою свобода, он не может: он сроднился с прежней жизнью, привык к молчаливой покорности, и только такая жизнь казалась ему подходящей и хорошей.

Но все же, смотря на рабочих и слушая их свободные речи, он трепетал восторженным трепетом счастья за тех, кем бы был и он, если бы у него были целы все пальцы, и жадно ловил неслыханные ранее слова.

И когда управляющий, недовольный частыми и новыми требованиями рабочих, проходя мимо него, с злой иронией спросил: „Что же ты, Михей, никаких требований не предъявляешь? Тоже, поди, чем-нибудь недоволен?“ — Михей почувствовал в словах насмешку, не над собой, — нет, ему показалось, что управляющий смеется над „свободой“ человека говорить о своих нуждах, и горькая обида поднялась в нем от этих слов, но, взглянув на управляющего и встретив его злой и насмешливый взгляд, он съежился, забыл сразу, что хотел сказать, задрожал от страха в поджилках ног, и низко наклонившись, бессознательно для себя, почти механически, как заученное, торопливо и робко проговорил:

— Всем доволен, Лука Исаевич, и так за Вас вечно бога благодарю!

Робкий, послушный тон и полная почтительности фигура старика теперь, когда уже рабочие делали вид, что не замечают его, тронули управляющего своей преданностью. Он подумал, что только один этот старик и остался, каким был ранее, и, душевно сам растроганный пришедшими ему мыслями, проговорил:

— Служи, старик, и дальше честно и верно, как служил раньше! Служба не пропадет! Криком много не возьмешь, а своих настоящих, верных работников мы и сами не забудем. Так-то, старый!

И он похлопал его по плечу.

Но когда управляющий ушел, старику стало совестно за себя. Говорили они один на один, никто их не слышал, и даже он не солгал, что всем доволен, — жаловаться ему было не на что, — но все-таки у него осталось кое-то нудное чувство, точно он чему-то изменил и какого-то обманул. И казалось ему, что то, что пронеслось мимо него ликующе и широко, — праздник угнетенных и обиженных, а стало-быть и его праздник, — омрачилось.

И, покачивая укоризненно головой, Михей говорил сам себе:

— Эх, старик, старик, было бы тебе и помолчать! А либо сказать бы Луке Исаичу, что, мол, мне-то о смерти в пору думать, потому мне и так, как есть, хорошо: да и куда уж мне беспалому, а те, кто помоложе да все пальцы имеют, — те жить хотят! А свобода — божья благодать, — рассуждал с собой Михей.

И он ходил печальный, угрюмый.

Глаза его еще глубже ушли в орбиты, и тяжелые думы не давали ему покоя. И часто в задумчивости он шептал:

— Эх, старик, старик, было бы тебе и помолчать!

## V

Однажды, когда Михей зашел в контору, он услышал, как управляющий в своем кабинете, дверь из которого была отворена, громко с кем-то спорил:

— Что вы говорите, все, все! Вовсе не все. Коноводит молодежь! — горячился управляющий. — Молодежь говорит, она и требования вырабатывает, а старики молчат, в них нет

ни энергии, ни самостоятельности, они, как бараны в стаде, идут за говорунами. А сами они всем довольны. Мне наш Михай об этом говорил.

Михею от случайно подслушанных слов стало так стыдно, точно его поймали на каком-нибудь гадком воровском деле. Он низко опустил голову и тихо, на цыпочках, вышел из конторы.

Ничего подобного он не говорил, но, видимо, управляющий так понял его слова, и выходило, что он, Михай, говорил не за себя, а за всех.

— Эна, куда метнуло! Эх, старик, старик, али бы молчал, али бы говорил, так уж на совесть! — чуть не со слезами укорял себя Михай, и душу его щемило чувство какой-то большой сделанной им неправды.

И Михай мучился. Мысли, как тяжелые камни, ворочались в его голове, и ничего он не мог придумать, только голова становилась к концу дня тяжелая, точно налитая свинцом, и ходил он растерянный, не находя себе ни места, ни дела. Спал Михай плохо, ему снились народ, управляющий и он сам, лукавящий перед управляющим. Он и слушает то, что говорят возбужденные рабочие, и им говорит: „Да, оно, конечно, воля—дело божье. Пришло и наше времячко!“ — и в то же время льстиво улыбается управляющему, хмурому, со вздрагивающими от кривившихся губ пушистыми усами, и говорит ему: „И чего народ будоражится? Жили бы, как жили, и, господи, как хорошо!“

И лукавство его так ясно и так похоже на правду, что даже сквозь сон он ощущает чувство стыда, и хочется ему крикнуть и в чем-то оправдаться, и он просыпается и тяжело и нескладно ворочается в постели, и, протяжно зевая, бормочет:

— Что же это? Ведь так и ума можно решиться?

В одно утро, когда Михай по обыкновению проснулся под впечатлением мучавших его снов, ему пришла мысль, что необходимо объясниться с Лукой Исаевичем и рассказать ему все, чего он из трусости не решился сказать тогда.

Мысль Михею понравилась. Ему казалось, что, если он скажет все без обмана, он исправит свою ошибку, из-за которой лишился покоя.

— И пойду и надыть итти, потому покоя лишился, а правда-то для человека допрежь всего должна быть!

Предстоящее объяснение захватило Михея.

## VI

А сны у Михея становились все ярче.

Теперь он видел себя уже не лукавящим и боящимся, а безбоязненно говорящим Луке Исаичу правду. И снилось все это так подробно, так ясно и живо.

Когда он шел к управляющему, он обряжался в чистую рубаху, тщательно расчесывал голову и надевал сапоги, от которых шел крепкий, нравящийся ему запах. Шел он не спеша, в сознании важности своего дела, и старательно одергивал топорщившуюся новую рубаху.

Торжественный вошел он в кабинет:

— Слыхал я, Лука Исаич, на молодой народ вы гневаетесь, что о свободе они толковать много стали. Я, Лука Исаич, вот бог свидетель, кривить душой не стану и прямо-таки скажу, не одни молодые, а и все в свободу поверили. И ежели судить, и меня судите, потому тоже поверил! Время-то этого отцы и деды наши ждали. Ну, и все поверили, что дождались, наконец, своего времечка и почали о правах высказывать. Иной слова в год не сказал, а тут тоже говорить начал. А как посмотришь, да послушаешь, и видно, что не человек это заговорил, а обида его! Всю жизнь он ее в себя забирал, как вон, к примеру, губка на окне воду с потелых стекол забирает. А коли я молчал, так какой я человек! Старый да беспальный, мне о смерти впору думать. А к примеру, будь это годков двадцать назад, когда я при пальцах был, так и я бы заговорил! Так вот я и говорю, не обижайте народ расчетом, что уж, и так он обижен и так изо всего один обман вышел!

И был он доволен тем, что сказал.

И у него от радости и умиления сильно колотилось сердце, и он просыпался.

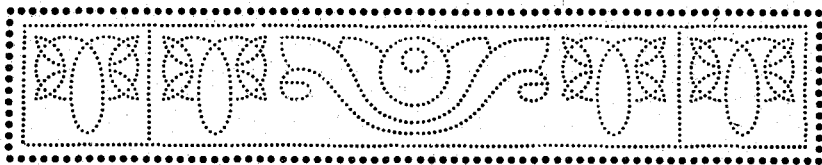
В одно утро Михей проснулся каким-то закаменелым, с твердой решимостью, что сегодня он пойдет. Он стал собираться, нахмуренный, сосредоточенный, чувствуя над собой

какую-то неотвратимую силу, которая властно тянула его туда, к Луке Исаичу.

Собирался он долго и отчего-то глубоко вздыхал и отдувался. Он делал все, как ему снилось: надел чистую рубаху и новые сапоги, от которых запах шел по всей товарной, и решительно пошел, стуча новыми, тяжелыми сапогами.

Шел он, вздыхая, забыв все те длинные слова, которые он заучил, шел, не зная, что скажет, и чувствовал только одну неотвратимую силу, которая властно влекла его.





С. ЧЕРКАСЕНКО

## САШКА



ихо на шахте: не слышно ни гула, ни грохота, ни тяжелых непрерывных вздохов пароттоводителей, ни ежедневной и еженощной суетни сотен и тысяч гномов-рабочих возле гигантского черного чудовища, невидимого страшного спрута, раскинувшего вокруг себя свои долгие ноги-эстокады с огромными кучами черного блестящего угля под ними. Молчит шахта, молчит уже третью неделю: маленькие гномы забросили чудовище — и его затопило.

Вот они собрались многолюдной толпой на площади, хмурые, серьезные, вперившие свои неподвижные взгляды на кого-то, с пылом энтузиаста говорившего им о далеком, прекрасном. И трудно было уловить мысль этой молчаливой полной злобующего покоя толпы. Куда льнут их думы тяжелые, как толща земли. Здесь работа истощала их годами, во всякую пору года, вдали от родных мест. Или они, может быть, прикованы к этому месту и к изменчивым обстоятельствам, таящим в себе что-то желательное, что-то страшное?..

Из Пуриковского двора суетливо выходит престарелый полицейский надзиратель. Он только лишь возвратился откуда-то, и на лице его глубокая тревога. Новый мундир, подпоясанный туго кушаком, возле которого висит в черной кожаной кобуре револьвер на шнурке, спускающемся от шеи, свидетельствовал о серьезности момента.

„Дело труда отзовется  
На поколеньях живых,  
На поколеньях живых“...

донеслось к нему и заставило его остановиться...

Из переулка вывалила на улицу ватага босых, в фуражках и без них, шахтерских ребятишек. Впереди, привязав к палке красный, с желтыми цветочками платок и высоко поднимая его кверху, важно выступал Саша.

Завидев надзирателя, певцы приостановились и умолкли; молча переглянувшись, они готовы были удрать, но, видя, что Саша, будто ничего не замечая, повернул по улице мимо надзирателя, стояли молча.



С. Иванов

ЕДУТ

— Ты же это что задумал, бесенок? — набросился на Сашу надзиратель. — Брось мне сейчас же, брось, не то уши оборву. Вишь, каков! И он туда же!

— А мы разве что, ваше благородие? — оправдывался Саша, пряча за спиной палку с платком. — Наши говорят: „Почему ты, Саша, не идешь с мальчуганами с флагами?“... Ну, мы и пошли...

— Поговори мне еще! — топнул ногою надзиратель. — Брось сейчас же палку! Кому я говорю?!

Саша бросился опрометью назад и, волоча за собою флаг, закричал:

— Беги, ребята, к нашим!

Вся ватага с криком и смехом, подымая пыль, исчезла в переулке.

Когда надзиратель подошел к собранию, Саша с товарищами уже вертелся между взрослых, внимательный, хлопотливый, перешептываясь со своими помощниками.

— Хищун, оставь! — пригрозил надзиратель оратору, — оставь и расходишь, не то будет плохо.

— Да кому же мы мешаем? — вопросительно отвечал Хищун, — нужно же нам посоветоваться!

— Знаю... но все-таки расходишь. Клянусь, будет хуже! Вы знаете, что я вам не враг, и потому лучше вам разойтись... К чему это?.. А тебе, Хищун... да и прочим... советовал бы не прятаться, а добровольно сдаться. Клянусь! Я по совести. Разве мне приятность? Сейчас приедут, а вы того... Советую вам не доводить до греха. А ты, Хищун, останься... и прочие, кого приказано арестовать.

В толпе поднялся шум.

— Да не я, не я, голова ты содовая!.. Я, можно сказать, ничто. Сами виноваты: ни в шахту, ни с рудника. Так же нельзя, братцы. Ну вот... ну вот видишь... я же вам сказывал. Вот и договорились. Сами ведь знаете, какие теперь времена... по головке не погладят. Вон уже идут... получайте!

В самом деле: из-за шахты выехало десятка полтора казачков с винтовками за плечами, а за ними и сам исправник.

Толпа заволновалась и умолкла. Хищун стоял на стуле бледный, как стена, но не прятался.

— Ну, что же?... Расходитесь, — обратился он с дрожью в голосе к шахтерам: — нас четырех арестуют, да и конец. Право слово... а то на самом деле...

Молчание. Звон оружия и фыркание лошадей. Надзиратель пошел навстречу исправнику.

Всадники подъехали и спешили. Исправник добыл какую-то бумагу и что-то в ней искал глазами. Минута тяжелой тишины.

— А кто из вас Хищун?.. Литвинов... Захаренко... м-м.. Туркин? — поднял он, наконец, голову и бросил взгляд в толпу.

— Я — Хищун, господин исправник.

— Ты? — бросил на него острый взгляд исправник. — Ну, вот и отлично: выходи сюда с остальными... с теми, которых я назвал; вас арестуют, а прочие по домам!



Хищун исчез в толпе и хотел было выйти, но его не пустили. Раздались крики, угрозы.

— Да вы не горячитесь, — спокойно заговорил исправник, — и делайте то, что вам велят. Не шутить же я к вам приехал... Ну, так не дадите мне сделать то, что нужно?.. Нет? Предупреждаю, что силой сделаю. Расходитесь, вам говорю!

Между шахтерами поднялась ужасная суматоха и упреки.

Они взмахивали руками, бранились, напирали всей массой на казаков, которые стояли, держа за поводья коней, спокойно усмехаясь.

Впереди суетились мальчуганы, а Сашка почему-то вообразил себе, что как раз в данный момент нужно выбросить флаг, — и высоко над головами поднялся красный женский платок. Исправник пожал плечами, повернулся к казакам и кивком головы дал знак. Хищун, как вьюн, завертелся между шахтерами, просил, умолял... Не помогло.

Хищун и его товарищи были арестованы, и исправник, дав распоряжения надзирателю, уехал вместе с казаками.

В стороне лежало несколько человек шахтеров, раскинув руки, а немного ближе, крепко обняв свой флаг, широко раскрытым мертвым взглядом смотрел в небо Саша.





Г. ШЕНГЕЛИ

## БРОНЕНОСЕЦ „ПОТЕМКИН“

### I

Кают-компания. Офицеры, судовой священник.

АНТОНОВ

Попробуем. Блистательные раки.  
А красные!

ГРИГОРЬЕВ

Точь-в-точь социалисты.

АНТОНОВ

Но повкуснее. Хо-хо-хо! Пивка?

ГРИГОРЬЕВ

Плесните.

АНТОНОВ

Благолепие, ей-богу!  
Прохладно, вкусно. Что, отец Пармен,  
Канашек не хватает?

СВЯЩЕННИК

Перестаньте.  
Что за срамные речи?

АНТОНОВ

Грешен, грешен.

СЕМЕНОВ

А вам легко живется.

ГРИГОРЬЕВ

Не скажите:  
И у него такое горе есть.

СЕМЕНОВ

Какое же?

ГРИГОРЬЕВ

Что индульгенций нету  
В российской церкви. Вот ему и страшно  
Геенны огненной и согрешить  
Нельзя во всеуслышание.

СВЯЩЕННИК

Стыдно!

Что вы такое говорите нынче?

АНТОНОВ

Эх, батя, батя, не мешайте есть:  
Сегодня не великий пост.

Входит старший офицер.

СТАРШИЙ ОФИЦЕР

Сегодня

На корабле такое безобразие!

ПЕТРОВ

А что?

СТАРШИЙ ОФИЦЕР

Да, понимаете, варят  
Им борщ. Так все шестьсот матросов, — все  
Котел понюхали.

АНТОНОВ

Так вкусно разве?

СТАРШИЙ ОФИЦЕР

Не зубоскальте, мичман. Дело в том,  
Что на говядине штук пять червей  
Вчера заметили; так вот: воняет.

ПЕТРОВ

А, может быть, и в самом деле гниль?

ИВАНОВ

Нет, быть не может. Мясо покупал.  
Я сам, а я не слеп и не без носа.  
И я вам удивляюсь, лейтенант,  
Что вы всегда на стороне матросов...

ПЕТРОВ

Я не всегда на стороне матросов,  
Но думаю, что попусту дразнить  
Людей не следует в такое время.

ИВАНОВ

В какое время?

ГРИГОРЬЕВ

Это лейтенант  
Семенов знает лучше всех. А ну-ка,  
Поведайте нам, лейтенант-философ,  
В какое время мы живем.

СЕМЕНОВ

Извольте.  
Скажу. Я не чувствителен к насмешкам...  
Так вот: когда мы гнали из Одессы  
На катере и к Тендре подходили, —  
Верст за десять „Потемкин“ засиял нам,  
И два прожектора, два узких, пыльных,  
Лазоревых крыла взлетели в небо,  
Обламываясь вдруг и упадая.  
Почудилось мне: это божий дух  
Витает над водою перевозданной,  
Уже тоскуя, что создал ее...

СВЯЩЕННИК

„Тоскуя“. Так о господе неловко.

ГРИГОРЬЕВ

Он, батя, еретик... Ну, дальше, дальше.

АНТОНОВ

Ах, бросьте, это портит аппетит.  
„Тоскуя“, „божий дух“, — к чему все это?

СТАРШИЙ ОФИЦЕР

Да, лейтенант, вы brave офицер,  
Да вот заумствовались что-то слишком.

СЕМЕНОВ

Ах, господа, — никто не понимает...  
Ведь мы...

СТАРШИЙ ОФИЦЕР

Хотите пива?

СЕМЕНОВ

Не хочу.

АНТОНОВ

Живой моряк, — и не желает пива.  
О, времена! Отец Пармен, нельзя ли  
Из лейтенанта выгнать этих бесов  
Злотрезвенных?

Входит баталер.

БАТАЛЕР

Позвольте доложить,  
Что от борща команда отказалась.

СТАРШИЙ ОФИЦЕР

Что? Доктор ведь сказал, что мясо годно.  
Ах, негодяи! Ну, сейчас приду.  
Ступай. Я покажу им. Сговорились.

АНТОНОВ

Ну, будет музыка! Отец Пармен,  
Молебен о непротуханьи мяса...

СТАРШИЙ ОФИЦЕР

Нет, — как вам нравится. Да что же, — мне  
Кормить их ананасами, мерзавцев?

ИВАНОВ

Вы подтяните их.

ПЕТРОВ

Зачем вы так?

Из пустяка ведь может буря выйти.

Входит боцман.

БОЦМАН

Позвольте доложить, что там команда  
Построилась и просит командира.

СТАРШИЙ ОФИЦЕР

Претензия? Ну, ладно, у меня  
Вы потанцуете. Я покажу вам,  
Я покажу!

ПЕТРОВ

Позвольте вам сказать —  
Я старый офицер — полегче вы  
С командой обойдитесь. Право, страшно!  
Вы помните, что было в ноябре?

СТАРШИЙ ОФИЦЕР

Благодарю вас за совет, спасибо!  
Я знаю, как мне с ними говорить.  
Ах, негодяи! Ну, теперь держитесь.  
Построились и просят командира?  
Я им такого командира дам!

Выбегает.

ГРИГОРЬЕВ

Вот взъерепенился.

СВЯЩЕННИК

Не подобает  
Вам, мичман, так о старших говорить.

ГРИГОРЬЕВ

Ей-богу, к ракам ладан не идет,  
Отец Пармен.

ИВАНОВ

А я так, право, рад.

ПЕТРОВ

Напрасно: ведь матросы накалились.

ИВАНОВ

Матросы накалились, говорите?  
Тем лучше: легче их согнуть в дугу  
Хорошим молотом.

С палубы доносится иступленный крик старшего офицера.

СЕМЕНОВ

Постойте!

ПЕТРОВ

Тихо!

Молчание. И снова крик его же.

СТАРШИЙ ОФИЦЕР

Закрывать его брезентом! Расстрелять!

Все вскакивают. Выстрел. И в ответ раздается громовой яростный крик  
матросов: „А-а-а-а!“ Сыплются выстрелы.

О Ф И Ц Е Р Ы

Что там?  
Мятеж!  
Где командир?  
Спасайтесь!  
О, боже мой!  
Я говорил!  
Что делать?  
К оружию!  
Наверх!  
Мятеж!  
Мятеж!

Антонов выбрасывается в иллюминатор. Из смежных кают выскакивают другие офицеры.

В чем дело?  
Бунт?  
Скорее к командиру!  
Закройте дверь!  
Достаньте револьверы!

Распахивается дверь и вбегают вооруженные винтовками матросы. Среди них Черных, Брызгалов и Зозуля. Некоторые врываются в смежные каюты.

Б Р Ы З Г А Л О В

Сдавайся, сволочь! Или всем конец!  
Срывает со стола скатерть, затем с размаху бьет прикладом священника.

Ч Е Р Н Ы Х

Где Иванов?

З О З У Л Я

Что разбирать? Всех бей!

Ч Е Р Н Ы Х

Где Иванов? Держись! А, ты стрелять?

И В А Н О В

Убью!

Стреляет.

Ч Е Р Н Ы Х

Промазал!

Вырывает у него браунинг и выпускает все заряды ему в лицо.

Вот тебе, вот, вот.

Вот, вот, вот, — все! Что, зверюка, вкусно?

С Е М Е Н О В

О, боже мой! Я чувствовал, я знал!  
Застреливается.

П Е Т Р О В

Ребята, образумьтесь!

Б Р Ы З Г А Л О В

Кто ребята?  
Ты нам отец? А ну, — долой погоны!

П Е Т Р О В

Не ты мне дал!

З О З У Л Я

А кто же? Царь? Лови!  
Стреляет в него. Матросы втаскивают командира.

К О М А Н Д И Р

Товарищи! Что вы? Ведь я всегда  
За вас стоял. Не убивайте! Братцы!

М А Т Р О С Ы

Скотина!

К О М А Н Д И Р

Спасите! Братцы!  
Простите, пощадите!

З О З У Л Я

Бей его!

М А Т Р О С Ы

Тащи наверх легавого!  
Повесим  
На грота-рее!  
Как сигнал?  
Что руки  
Марать? Здесь расстрелять:  
Ставь к стенке!

К О М А Н Д И Р

Братцы!

Его расстреливают. Вбегают Матюшенко и др.



МАТЮШЕНКО

Довольно! Не свирепствуйте. Довольно,  
Товарищи! Корабль у нас в руках!  
Мы победили! Революция!

МНОГИЕ

Ура!

МАТЮШЕНКО

Да здравствует свобода! Этих —  
Взять, запереть. А там решим, что с ними  
Нам делать. Мертвецов вали за борт.  
Сейчас собрание...  
Убит за правду!..  
Вакуленчук!...

Рыдает.

Но отомщен, как надо!

II

Новый мол в одесской гавани. Публика.

ПЕРВЫЙ

Смотрите: вон какой-то броненосец,  
Ишь — прет! Так и отваливает воду  
Направо и налево. Чисто плуг.

ВТОРОЙ

Позвольте-ка бинокль... Ну так и есть.  
„Потемкин“. Это, батенька, — корабль!  
Он всей эскадры черноморской стоит  
Один. Эх, не было его в Цусиме!

ТРЕТИЙ

Да это не „Потемкин“.

ВТОРОЙ

Не „Потемкин“?  
А три трубы?

ТРЕТИЙ

Что три трубы? Ведь „Память  
Меркурия“ — трехтрубный тоже.

ВТОРОЙ

Да?

А башни для двенадцатидюймовых?  
А корпус низкий? Это-ж броненосец  
Линейный, а не крейсер. Броненосцы-ж —  
„Мария“, „Ростислав“, „Георгий“, „Три  
Святителя“ — все старого покроя.  
Их разве только греческий священник  
Не отличит от этого красавца!

СТУДЕНТ

Откуда им все корабли известны?

ВТОРОЙ

А вам?

СТУДЕНТ

Мне неизвестны.

ВТОРОЙ

Очень жаль-с!  
Студенты только бунтовать умеют,  
А на Россию им плевать.

СТУДЕНТ

Россия!  
При чем Россия тут?

ВТОРОЙ

А как же-с? Вон, —  
Вон вам Россия, — мощь ее и гордость.

СТУДЕНТ

Мы эту гордость под Цусимой знаем,  
Когда она вверх брюхом поплыла.  
Не корабли, — калоши. Вы в карманы  
Строителей взгляните: вот где мощь!

ВТОРОЙ

Я не желаю с вами говорить.

СТУДЕНТ

Пожалуйста!

ВТОРОЙ

Отчаянье берет  
Смотреть на молодое поколение!

ПЕРВЫЙ

Да, времена такие подошли...  
Вчера—слыхали? — бомбою убили  
Городового. Двадцать лет служил,  
Свой юбилей справлял позавчера,  
И только встал на пост всегдашний,— трах!  
В клочки. За что?

ВТОРОЙ

Бунтовщики!

ЧЕТВЕРТЫЙ

А что же?  
Молчать нам? Покоряться? Вы взгляните:  
По городу казаков распустили,  
Ругаются, нагайками бушуют,  
По тротуарам на конях гарцуют,  
Да конскими хвостами протирают  
Витрины магазинов. Красота:

ВТОРОЙ

И не того еще дождетесь!

ЧЕТВЕРТЫЙ

Верно!  
И вы еще дождетесь не того!

ПЕРВЫЙ

Вот. Входит. М-а-а-лый ход.

ТРЕТИЙ

Сейчас начнет  
Салютовать.

МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК

Вы, Катя, как начнется  
Стрельба, откройте рот.

КАТЯ

Зачем? Дурак!

МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК

Ей-богу, так всегда артиллеристы,—  
Чтоб перепонка барабанная...

ПЕРВЫЙ

Глядите:  
На мостике — матросы.

ВТОРОЙ

Да — вот странно!  
И офицеров не видать.

ТРЕТИЙ

Да, да.  
Что это значит?

ВТОРОЙ

Гм. Впервые вижу.  
Вы знаете: не по сердцу мне это.  
Случилось что-нибудь на корабле?

ПЕРВЫЙ

И флага нет андреевского.

ВТОРОЙ

Значит...  
Смотрите, поднимают красный флаг!  
Так, значит, там — мятеж!

ПЕРВЫЙ

Уйдем скорее.  
Еще стрелять начнут.

В публике движение. Часть удаляется; часть скопляется на краю мола.  
Появляются группы портовых рабочих. Публика быстро „демократизируется“

ГОЛОСА

Да, красный флаг.  
„Потемкин“ стал на сторону народа.  
Вот так матросы!  
Молодцы!  
Теперь  
Держись, командующий!  
Это им  
Не женщины!  
Казачков не натравишь!  
Ай, хорошо, ребята!

Да, уж если  
И флот на нашей стороне, тогда  
Не сдобровать царю.

А ты полегче.

Чего полегче? Наша, брат, взяла.

„Потемкин“ спускает шляпку. В нее вносят тело Вакуленчука, и шляпка  
отваливает по направлению к молу.

Глядите: шляпка.

Что туда кладут?

Большое что-то.

Динамит, должно быть.

Дурак!

Идут.

Глядите.

Не толкайся!

Да это человек!

Покойник!

Шляпка пристаёт к молу. Матросы выносят тело и сооружают над ним  
из брезента нечто в роде палатки. У тела становится караул.

Ш У Л Ь Г А Влезая на бочку:

Товарищи и граждане Одессы!  
Здесь перед вами труп бойца, героя,  
Который заявить посмел начальству,  
Что борщ гнилой, ни к чорту не годится.  
Ему начальство рот заткнуло пулей.  
Товарищи! Доколе же терпеть  
Мы будем этакое беззаконье?  
Доколе же над нами офицеры  
И царь проклятый будут измываться,  
Насильничать? Ужели же за нас  
Народ не вступится и не поддержит.  
По всей России кровь и слезы льются.  
Вот в Питере рабочих расстреляли,  
В Ростове — казни, а по деревням —  
Опричники-казаки, ровно волки  
Остервенелые, полками рыщут,  
Детей запарывают, девок портят...  
Товарищи! Вас призываем мы  
Восстание поднять, смести начальство,

Провозгласить республику народа.  
У революции надежда есть.  
У революции есть флот и пушки.  
Долой же, братья, каторжный царизм,  
И вечная борцам погибшим память.  
Долой самодержавие!

М Н О Г И Е

Долой самодержавие!

Толпа теснится к телу. Многие крестятся, плачут. Иные кладут к ногам трупа  
кольца, деньги.

Д Е В У Ш К А

Молоденький.

В Т О Р А Я

А храброе лицо.

Р А Б О Ч И Й

Погиб.

В Т О Р О Й

За правду пострадал.

Т Р Е Т И Й

Бедняга.

Д Е В У Ш К А

Постой,— нет, Нюра, подожди: за что?

Р А Б О Ч И Й

Заголосили. Эх,  
Не плакать надо!

В Т О Р О Й

Не такое время.

Т Р Е Т И Й

А сам,— что плачешь?

Ж Е Н Ц И Н А

Панихиду бы.

МАТРОС

Над ним-то? Над героем? Панихиду?  
А всенародные-то слезы разве  
Не панихида?

ЖЕНЩИНА

Вон — солдатики,  
Манчжурцы раненые.

ВТОРАЯ

Им, несчастным,  
Теперь полегче будет: занялась  
Свобода.

Подходят двое раненых в манчжурских папахах.

ПЕРВЫЙ

Эх, мы там, он здесь, болезный.  
Подходит офицер, смотрит и отходит.

РАБОЧИЙ

А честь?

СОЛДАТ

Эй, честь отдать!

РАБОЧИЙ

Не на балу!  
Офицер поспешно козыряет и скрывается.

ПЬЯНЧУЖКА

Из-за таких вот и погиб несчастный  
Во цвете лет.

ДЕВУШКА

Как смеют убивать?

Подходит дама в трауре, смотрит долго, потом опустошает кошелек, снимает  
серьги, кольца и кладет к ногам трупа.

ДАМА В ТРАУРЕ *Гардемарину, сопровождающему ее.*

Гляди, Володя.

Запомни, милый, на пороге жизни.

РАБОЧИЙ

Эх, барыня, что-ж раньше-то, что-ж раньше?

СТАРУХА

Родименький! Дай, ножки поцелую.  
И у меня такой был... Взяли... Взяли...  
Казнили... И могилку-то потом  
Не отыскала... Родименький, голубчик!..

РАБОЧИЙ

Вот я сказать хочу. Вот эти руки  
Иссохли на работе, силы нет.  
А все-ж пойду — старик — пойду сражаться!  
Уж если молодые погибают,  
Так нам и бог велел. Авось придется  
Хоть грудью смелого борца прикрыть...  
Эх, не было меня с тобой, товарищ!

ГОЛОСА

Глядите: на бульваре! Поглядите!  
Казачи. Рысью. Что такое?  
Значит,  
По Ланжероновскому <sup>1)</sup> съедут в порт.  
Расправа будет.

Подбегает солдат

СОЛДАТ

Берегись, ребята!  
Сейчас привалят! Все пьяны! А сотник  
Грозится в море сбросить! Всех! Я дул  
Наперерез.

ГОЛОСА

Спасайтесь!  
Поздно.  
Через военный спуск.  
Там по дворам  
Засады из городских, — сам видел.  
Что делать?  
Будем защищаться.  
Как?  
Уйдем скорее.  
Стыдно.

<sup>1)</sup> Улица, ведущая к порту (спуск к морю).



Эй, матросы,  
Что-ж, вы дадите всех избить? А что же  
„Потемкин“ ваш?  
Что он молчит? Ужели  
Он их пугнуть не может?  
Что-ж „Потемкин“?

МАТРОС

„Потемкин“ что? Глядите: вон „Потемкин“!

ГОЛОСА

Ого, ого! Он боком стал! Глядите!  
Наводит пушки!  
Слышите, свистят  
Тревогу боевую!  
Поглядите:  
Помчался ординарец из дворца.  
Догнал. Остановилось казачье.  
Назад поехали. Ура!  
Струхнули!  
Каханов хвост поджал!  
Ай, молодцы!  
Ай, броненосец, ай, „Потемкин“!  
Славно!  
Ура!  
Ура!  
С защитником таким  
Сам чорт не страшен!

Подходят посланные с.-д. организацией агитаторы: Кирилл и другие.

КИРИЛЛ Влезая на бочку.

Товарищи! Мы видели сейчас,  
Что поворот революционных пушек  
В холодный пот вгоняет генералов.  
Товарищи! Уже близка победа.  
Подыдем гроб на трудовые плечи,  
С ним, как со знаменем, пойдем вперед  
На площади, пред памятники, всюду.  
Пусть этот город, этот смрадный ад,  
Где из дворцов грозятся нам кнуты,

Где кровь и пот по желобам струятся,  
Где у голодных вырывают корки,  
Где наши сестры в Красном переулке  
Свои объятья продают за рубль,—  
Пусть этот город поглядит на нас,  
Клокочущих революционным гневом.  
Пусть поглядит на этот славный труп,  
И пусть поймут там,—в банках, во дворцах,—  
Что пробил грозный час, что месть близка!  
Я не хочу одетым быть в пиджак!  
Матросскую рубашу дайте мне,—  
Мундир победоносного восстанья.

Срывает с себя пиджак. Ему подают голландку.  
С матросами восставшими сольемся,  
Солдат подыдем, всколыхнем рабочих.  
И океаном хлынем в старый мир  
И смоем все насилье, все злодейство.  
Вся власть в Одессе перейти должна  
К восставшему народу! Так вперед же.  
Во имя революции,—вперед!

Толпа поднимает тело Вакуленчука, и с пением похоронного марша  
осененная красным флагом процессия движется в город.





С. И. Иванов

ЭГИЗОД ИЗ 1935 г.

## ЛЕГЕНДА СВОБОДЫ



Одесский порт в этот день, 14 июня, часов в 10 ночи, из Гендровского залива, в сопровождении миноносца № 267, пришел броненосец „Потемкин Таврический“.

Стальной гигант стоял на рейде, внушая растерянность и страх одним, другим — надежду и беззаветную смелость и веру в то, что начинается новая жизнь, победоносная и гордая, и провозвестником этой новой жизни является этот грозный гигант, с безумной отвагой поднявший пламенное знамя восстания. Огромные толпы народа, как лава, потекли вниз в порт, чтобы быть поближе к недвижно стоявшему броненосцу, даже попасть на него и лично убедиться, что он непобедим не только благодаря своему вооружению, но и духу освобождения, охватившему моряков.

В конце Нового мола, в палатке, сделанной из паруса, лежал труп матроса, убитого на „Потемкине“ старшим офицером.

Это окровавленное тело выставлено было, как знамя восстания, призывавшее всех к борьбе и отомщению. Его охраняло всего несколько человек товарищей с броненосца. Но охраны и не требовалось. Те, кто готовы были растоптать это простреленное знамя, они не смели сюда показаться. Жерла грозных пушек с броненосца в несколько минут могли превратить город в кучу сора.

Те же, кто подходил сюда, протискиваясь сквозь огромную толпу, с удивлением и благоговением глядели в мертвые неподвижные черты человека, осмелившегося прямо взглянуть в глаза своему начальству и от лица товарищей заявить, что они не желают больше издевательства над собою, как не желают есть тухлое червивое мясо.

Тысячи человек как бы искали в этих неподвижных чертах разгадки той тайны, которая отделяла нынешний день от завтрашнего. Но резкие и точные черты загорелого молодого лица не могли дать ответа на этот вопрос. Они только ясно и вразумительно говорили:

— Я сделал свое. Я честно исполнил то, что считал своим долгом. Я отдал бескорыстно свою жизнь за то, что считал правдой. Слава тому, кто сделает больше!

И толпа, приливая и отливая от этой палатки, не смела здесь говорить громко, боясь оскорбить покой, который витал над трупом. Зато вокруг этой палатки она шумела и клокотала, как возмущенная и негодующая стихия.

Бочки, дрова и всякий хлам служил трибунами для ораторов. Они вскакивали на эти возвышения, приподнимались сотнями рук и с горящими глазами, с бледнеющими от страстного порыва лицами бросали в толпу огненные слова. Говорили девушки, женщины, рабочие, старики. Речи падали в толпу и еще больше поднимали ее возбуждение и жажду борьбы и подвигов. Но никто не знал, что именно нужно делать, куда идти, на что устремить свою стихийную энергию.

Маленькие лодочки и катера сновали около броненосца, приближались к нему и уходили снова, бессильные и жалкие, как чайки, с протяжными стонами носившиеся вокруг над водою. Они казались так ничтожны перед ним, что, очевидно, нечего было надеяться на их помощь.

Толпа все притекала сверху из города, синевшего в солнечном свете, окутанного пылью и дымом, который придавал ему призрачный и ненадежный вид.

— Товарищи! Товарищи!—звучали голоса всюду, где была толпа, и это слово не казалось здесь пустым звуком. Все, действительно, чувствовали себя товарищами.

— „Все за одного—один за всех!“

— Товарищи!

Я обернулся в сотый раз на этот призыв и увидел молоденькую девушку с курчавыми черными волосами, с большими глубокими глазами на красивом бледном лице, которые еще больше казались от переполнявшего их чувства.

— Товарищи! Совершилось событие, которое сильнее всяких слов говорит о том, что русский народ пробудился и понял,

что ему надо делать, куда идти. До сих пор, товарищи, одиноко, по терниям и острым камням шли наши борцы за родину к свету и справедливости. До сих пор они, как древние христиане в катакомбах, в подпольях и подвалах должны были скрываться от преследователей и угнетателей своей родины, чтобы зажечь там свои светильники и понести их во тьму, окутавшую народ. Теперь им некого бояться. Сила, которая грозила им из руки угнетателей, вон та сила! — почти пронзительно крикнула она голосом, в котором зазвенели слезы восторга и вдохновения. — Эта сила на нашей стороне, так как она поняла теперь, кто ее друзья и кто враги!

— Не слушай жидовку! — остановил ее речь грубый, хриплый голос с бешеной злобой. — Бей жидов! — Высокий человек с большой бородой, портовой стражник, рванулся к девушке с поднятыми кулаками, но прямо перед его лицом блеснул ствол револьвера, звякнул выстрел, и большое тело, взмахнув руками и постояв одно мгновение на месте в какой-то неестественной позе, рухнуло на землю.

Между тем, скоро стало известно в порту, что спуск занят солдатами и что в порт никого уже не пускают. Напуганная этим сообщением, боясь остаться запертой в ловушку, часть публики бросилась назад в город.

Все банки, заводы, магазины, даже пекарни — бастовали. Чего не удалось добиться накануне, свершилось на другой день, и кровавые жертвы 14 июня были смыты буйным приливом, неожиданно хлынувшим с моря.

О „Потемкине“ ходили самые невероятные слухи, и всему готовы были верить, так как самое невероятное из всего, что можно было выдумать, было здесь у всех перед глазами.

Возбуждение росло.

Проходя по Гаванной улице, я встретил странную похоронную процессию. Запыленные матросы, всего человек восемьдесят, шли за гробом, поставленным на дроги. Некоторые матросы были одеты в матросские куртки, а один из них был в желтом замасленном дождевике. Позади этой странной процессии ехала карета, а в ней за стеклами виднелись какие-то совсем чужие этой компании физиономии и опять-таки — матросская куртка.

Процессия, очевидно, поднялась из гавани. Пекло солнце, и по лицам матросов струился пот.

Это хоронили Вакуленчука...

Я сидел на четвертом этаже у своего знакомого, когда раздался оглушительный гул, как бы от взрыва.

Казалось, над головой пронеслось что-то с грозным свистом, и тут же невдалеке послышался звук удара. Явилось тотчас же подозрение, что это выстрел с „Потемкина“.

Вскоре брошен был второй снаряд.

Город охватила еще более жестокая паника.

В естественном ожидании я взглянул на небо, в ту сторону, где иногда среди бледных звезд, топя их в своем голубом блеске, вспыхивал сильный луч прожектора с броненосца. Долго ждать не пришлось. Медленно пробиваясь сквозь тьму, на небо ложился кровавый отблеск зарева. В порту вспыхнул пожар.

Ночь дышала огнем и ужасом.

Всю ночь гремела артиллерия. Грохотали залпы и трещали пулеметы, как горох, падающий на железную крышу. Пламя и выстрелы соединялись вместе, чтобы справить кровавую тризну. В эту ночь никто не спал в Одессе, и дети с плачем жались к взрослым, дрожали и вскрикивали при каждом взрыве, чувствуя неопишемую трагедию, совершавшуюся подле них.

К утру пламя стало меньше. Как сказочный зверь, оно нажралось досыта. Черные обломки зданий, как кости изломанных им скелетов, торчали там, где накануне бился мощный пульс жизни. И среди обломков зданий грудами валялись скелеты, да кое-где стонали, умирая, обгорелые, раненые, искалеченные люди. Доктора, санитары, полиция подбирали их, сваливали в уцелевшие вагоны, на телеги, увозили в больницы. Это была, однако, только часть. Множество народа, застигнутого огнем и выстрелами, ища спасения, бросались в воду и погибали в море. Долго потом всплывали трупы, и водолазы и рыбаки захватывали со дна человеческие тела...

„Потемкин“ выслал разведчиков в море. Вернувшись, разведчики сообщили, что недалеко появилась эскадра: три броненосца.

Эскадра не замедлила появиться вблизи Одесского порта.

Это были три броненосца: „Ростислав“, „Три Святителя“ и „Двенадцать Апостолов“. Их сопровождали три контр-миноносца и три миноносца. На „Ростиславе“ взвились сигнальные флаги, „Потемкин“ также ответил сигналами. Моряки жадно

.....

следили с борта за этими переговорами в подзорные трубы. И вот, какой обмен сигналов, по их словам, происходил между „Потемкиным“ и эскадрой:

Адмирал Кригер. Требую, чтобы вы присоединились к эскадре.

„Потемкин“. Просим адмирала на борт.

Адмирал. Сдайтесь, безумные потемкинцы, или примите бой.

„Потемкин“. Мы готовы к бою.

Адмирал. Я не могу принять его здесь, так как при перелете снарядов может пострадать город.

„Потемкин“. Иду к вам.

И, подняв боевой красный флаг, „Потемкин“ понесся в разрез эскадре, в открытое море. Он принял вызов и часа два находился вблизи эскадры. Была минута, когда эскадра вдруг последовала за ним в открытое море. Тогда, вдруг он сделал поворот и на всем ходу разрезал кольцо, которым его замкнули. На берегу закричали, что „Потемкин“ идет на сдачу. Но тут произошло что-то совсем неожиданное.

На „Ростиславе“ снова поднялся сигнал:

— Мы идем в Севастополь.

„Потемкин“. Мы остаемся здесь.

Кригер отдает эскадре приказание: „вперед“.

Но с „Георгия Победоносца“ отвечают:

— Мы остаемся здесь.

И „Георгий“ поворачивается и становится рядом с „Потемкиным“ при радостных криках „ура“ с той и другой стороны. Затем с „Георгия“ взвиваются новые сигнальные флаги, и уходящий в море адмирал читает их:

— Офицеров высадим на берег.

Эскадра стала медленно удаляться и скоро совсем исчезла с горизонта.

„Потемкин“ принял к себе на борт капитана „Георгия Победоносца“ и на шлюпке высадил его вместе с офицерами. Только один из офицеров — Григорьев — не пожелал воспользоваться этой милостью со стороны взбунтовавшихся матросов и застрелился на корабле.

Вечером 18 июня в порт, где стоял „Георгий Победоносец“, вошел учебный транспорт „Прут“. Некоторое время



он переговаривался с броненосцем. Все думали, что „Прут“ также присоединяется к восставшим, но он скоро ушел в море.

После его ухода на „Георгии“ поднялась тревога. Большинство команды, не видя никакой поддержки со стороны города, совершенно подавленного военным положением, испугалось и решило принести повинную начальству. Во главе рассказавшихся стоял боцман. Говорят, они обманным образом связали своих противников, которых к тому же было не более семи-десяти человек, а сами послали депутацию в город к командующему войсками и вручили ему георгиевское знамя.

По просьбе команды, на корабль снова были водворены командир его и офицеры.

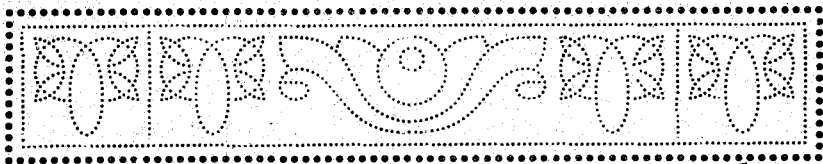
Этот удар поразил потемкинцев.

\* \* \*

Шестой день близился к концу. Я стоял на обрыве и смотрел в море, ожидая, что, вот-вот, на горизонте появятся суда Черноморской эскадры из Севастополя и в конце-концов взорвут „Потемкина“. И вдруг слева, из-за мыса, где белел маяк, я увидел броненосец. „Потемкин“ шел вдоль берегов, одинокий и гордый. Черный дым, как траурный султан, колебался над ним и далеко тянулся в воздухе, не сливаясь с ним и не тая.

Было душно... Парило... И лиловая туча шла из-за моря навстречу отважному и несчастному кораблю, этой железной легенде свободы, которая не забудется никогда.





А. КУПРИН

## ПЫЛАЮЩИЙ КРЕЙСЕР



Мы в Балаклаве услышали первые звуки канонады часа в 3—4 пополудни. Сначала думали, что это салюты в честь монарха или кого-либо из его августейшей семьи. Но выстрелов было слишком много, более сорока. К тому же вскоре показались первые извозчики из Севастополя с колясками, наполненными людьми, одуревшими от ужаса. Говорили смутно и бестолково, что на „Очакове“—пожар, что несколько судов потоплено, что из морских казарм стреляют из пулеметов.

Мы вдвоем поехали в Севастополь на обратном извозчике. Это был единственный извозчик, согласившийся вернуться в город, объятый пламенем революции. Надо прибавить, однако, что там у него осталась семья.

Вскоре стемнело. Нам навстречу беспрерывно ехали коляски, дроги, телеги. Уже за 15 верст чувствовалась паника. На экипажах навалена всяческая рухлядь, собранная кое-как, впопыхах. В этом было много жуткого. Точно кошмарный обрывок из картины переселения народов, гонимых страхом смерти. Сцеплялись колеса с колесами, люди ругались с озлоблением, со стучащими зубами. Ни у кого не было огней. Наступила ночь.

Справа от нас, над горизонтом, по черному небу двигались беспрерывно прямые белые лучи прожекторов, точно световые щупальцы.

Мы окликали, спрашивали. Ни один из встретившихся нам беглецов не отозвался. Извозчики отвечали бессмысленно и неопределенно:

— А там пальба идет!

Или:

— Там все друг друга постреляли!

А один сказал с зловещей насмешкой:

— Поезжайте, поезжайте! Сами увидите!

Дорога к Севастополю идет в гору. Когда мы поднялись на нее, то увидели дым огромного пожара. Весь город был залит электрическим светом прожекторов, и в этом мертвом голубоватом свете клубы дыма казались белыми, круглыми и неподвижными. Город точно умер. Встречались только отряды солдат. Когда при выезде, против казарм, поили лошадей, то узнали, что, действительно, горит „Очаков“. Отправились на Приморский бульвар, расположенный вдоль бухты. Против ожидания, туда пускали свободно, чуть ли не предупредительно. Адмирал Чухнин хотел показать всему городу пример жестокой расправы с бунтовщиками. Это был тот самый адмирал Чухнин, который некогда входил в иностранные порты с повешенными матросами, болтавшимися на ноке.

С Приморского бульвара вид на узкую и длинную бухту, обнесенную каменным парапетом. По середине бухты огромный костер, от которого слепнут глаза, и вода кажется черной, как чернила.

Три четверти гигантского крейсера — сплошное пламя. Остается целым только кусочек корабельного носа, и в него уперлись неподвижно лучами своих прожекторов „Ростислав“, „Три Святителя“ и „Двенадцать Апостолов“. Когда пламя пожара вспыхивает ярче, мы видим, как на бронированной башне крейсера, на круглом высоком балкончике, вдруг выделяются маленькие черные человеческие фигуры. До них полторы версты, но глаз видит их ясно.

Мне приходилось в моей жизни видеть ужасные, потрясающие, отвратительные события. Некоторые из них я могу припомнить лишь с трудом. Но никогда, вероятно, до самой смерти, не забуду я этой черной воды и этого громадного пылающего здания, этого последнего слова техники, осужденного вместе с сотнями человеческих жизней на смерть сумасбродной волей одного человека. Нет, пусть никто не подумает, что адмирал Чухнин рисуется здесь в кровавом свете этого пожара, как демонический образ. Он просто чувствовал себя безнаказанным.

Вдоль каменных парапетов Приморского бульвара густо стояли жадные до зрелищ мещане. И это сказалось с беспощадной ясностью в тот момент, когда среди них раздался тревожный взволнованный шопот:

— Да тише вы! Там кричат!...

И стало тихо, до ужаса тихо. Только мы услышали, что оттуда, среди мрака и тишины ночи, несется протяжный высокий голос:

— Бра-а-тцы!...

И еще, и еще раз. Вспыхивали снопы пламени, и мы опять видали четкие черные фигуры людей. Стала лопаться раскаленная броня с ее стальными заклепками.

Это было похоже на ряд частых выстрелов. Каждый раз при этом любопытные мещане бросались бежать, но, успокоившись, возвращались снова.

Пришли солдаты, маленькие, серенькие, жалкие—Литовский полк. В них не было никакой воинственности. Кто-то из нас сказал корявому солдатику:

— Ведь это, голубчик, люди горят!

Но он глядел на огонь и лепетал трясущимися губами:

— Господи, боже мой! Господи, боже мой!

И было в них во всех заметно темное, животное, испуганное влечение прижаться к кому-нибудь сильному, знающему, кто помог бы им разобраться в этом ужасе и крови.

И вот к ним и к нам подходит офицер, большой, упитанный, жирный человек. В его тоне молодцеватость, но и что-то заискивающее. Это все происходит среди тревожной ночи, освещенной электрическим светом прожекторов и пламенем умиряющего корабля.

— Это еще что-о, братцы! А вот, когда дойдет до носа,—там у них крьюйт-камера, это где порох сложен,— вот тогда здорово бабахнет!..

Но в ответ—ни обычной шутки, ни подобоострастного слова. Солдаты повернулись к нему спиной.

А гигантский трехтрубный крейсер горит. И опять этот страшный, безвестный, далекий крик:

— Бра-а-тцы!..

И потом вдруг что-то ужасное, нелепое, что не выразишь на человеческом языке, крик внезапной боли, вопль живого

горящего тела, короткий, пронзительный, сразу оборвавшийся крик. Это все оттуда. Тогда некоторые из нас кинулись на Графскую пристань к лодкам.

На Графской пристани, где обыкновенно сосредоточено несколько сотен частных и общественных яликов, стояли матросы, сборная команда с „Ростислава“, „Трех Святителей“, „Двенадцати Апостолов“—надежный сброд.

На просьбу дать ялики для спасения людей, которым грозили огонь и вода, они отвечали гнусными ругательствами,



Б. Кустодиев

ВСТУПЛЕНИЕ

начали стрелять. Им заранее приказано было прекратить всякую попытку к спасению бунтовщиков.

А крейсер беззвучно горел, бросая кровавые пятна в черную воду. Больше криков уже не было, хотя мы еще видели людей на носу и на башне. Тут в толпе многое узналось. О том, что в начале пожара предлагали „Очакову“ шлюпки, но что матросы отказались. О том, что по катеру с ранеными, отвалившему от „Очакова“, стреляли картечью. Что бросавшихся в плавь расстреливали пулеметами. Что людей, карабкавшихся на берег, приканчивали штыками.

Опять лопается броневая обшивка. Больше не слышно криков. Душит бессильная злоба; сознание беспомощности, неудовлетворенная, невозможная месть. Мы уезжаем. Крейсер горит до утра.

По официальным сведениям—две или три жертвы.



В. ДМИТРИЕВА

## ГОРИТ РОССИЯ



ы выехали со станции часов около восьми вечера и не успели еще отъехать версты три, как маленький снежок, нехотя порхавший в воздухе, внезапно стал падать крупными хлопьями, закрутился, загустился, и началась настоящая степная мятель. Все слилось в одну общую белую муть, и среди этой мути беспомощно болтались только одни наши сани, запряженные парой плохоньких почтовых лошадей. Ни впереди, ни позади, ни с боков ничего не было видно, кроме холодной, крутящейся снежной пучины, которая с упрямой настойчивостью втягивала нас в себя, слепила глаза, перехватывала дыхание.

Ямщик сначала довольно бодро посвистывал и покрикивал на лошадей, но чем дальше мы погружались в снежную пучину, тем он становился все сосредоточеннее и, наконец, совсем замолчал. Но вот он вдруг отрывисто вскрикнул и умолк; сани наши накренились на бок и с размаху уперлись в какой-то бугор. Мы стояли.

— Что такое?—спросила я, с трудом отдирая от лица засыпанный снегом платок.

Ямщик ничего не отвечал и, прыгнув с облучка, начал тыкать кнутовищем в снег около саней.

— Сбились, что ли?—продолжала я, стараясь кричать как можно громче.

Ямщик подошел ко мне.

— Дорогу замело! Не знаю, где едем!

— Как же теперь быть-то?

— Да уж я и не знаю, как быть...

Ямщик постоял, потыкал еще кнутовищем в снег, походил около лошадей и, что-то бурча, снова влез на облучок. Снег крутился, и слышался затаенный, шипящий смех мятели.

— Но, саврасенький, трогай! Милые... вытягивай! — крикнул он на лошадей. Потом обернулся ко мне и сказал, понизив голос, как-будто сообщал какую-то очень важную тайну.

— Теперича одно остается—пустить лошадей на волю... Может они и вызволят. Лошадь—она тварь сурьезная... Она знает!

Мы снова погрузились в крутящуюся муть. Лошади шли с большим трудом, увязая по колени в рыхлом, мягком снегу; колокольчик тихонько вздыхал и плакал. Сани наши едва тащились, то зарываясь в сугроб, то с режущим скрипом полозьев волочась по голой земле. Часто лошади останавливались, и тогда сквозь шипенье мятели слышалось их тяжелое дыхание, прерываемое нетерпеливым звяканьем колокольчика. Это они мотали головами, как будто совещались между собою, потом, постояв и подумав, трогались с места и шли неизвестно куда. Ямщик предоставил им полную свободу и только изредка ободрял возгласами.

Не знаю, сколько времени длилось наше блужданье среди снегов, потому что под убаюкивающее пение мятели меня начала одолевать дремота.

— Ну, куда-й-то приехали! — веселым голосом крикнул ямщик. — Уж куда, не знаю, а приехать приехали!

— А что? — сонным голосом спросила я.

— Да лошади прямо в омет воткнулись. Вы поглядите-ка!

Действительно, сквозь снежную мглу мерещилось что-то большое, темное, и слышно было, как лошади аппетитно похрустывали сеном.

— Я уж тут охаживал! — продолжал ямщик, обивая рукавицей снег с тулупа. — Гумно — не гумно: не то одонья стоят, не то ометы. Как-никак, а все к жилью ближе. Что-ж, ехать, что-ль, дальше-то?

— Что-ж, поедем.

Опять мы заколесили по сугробам, беспрестанно натываясь не то на стога, не то на скирды, и только через полчаса выехали на ровное место. Лошади пошли ходчее, и сани перестали кувиркаться из ухаба в ухаб.

— Дорога! — восторженно воскликнул ямщик. — А вон и огонек светится...



— Где?

— Да вон, на левой руке-то. Уж и не чаял, не гадал вольный свет увидеть... Вот мы теперича на огонек-то и поедем. Эх, вы, кредитные, живее делайте! Сейчас греться будем.

Я изо всех сил старалась разглядеть огонек, на который указывал ящик, и в самом деле увидела, наконец, тусклую желтую точку, едва-едва мерцавшую в снежном вихре. Иногда она исчезала, и тогда казалось, что мы опять крутимся в пустынной степи, далекие от всего живого. Вверху что-то гудело и стонало. Поднимался ветер. Начинали зябнуть руки и ноги; клонило ко сну. „Я иду, я иду...“—выговаривал колокольчик... И снова предо мною развернулись широкие улицы, заколыхались красные знамена, и в ушах гремели твердые, как железо, гулкие, как удары молота, слова: „вперед... вперед... вперед!“

Крак... Мы с треском ударились в какую-то стену, сани подпрыгнули и остановились. Огромный мутный, желтый глаз подозрительно и сурово глянул на нас сквозь густую снежную пелену.

— Приехали...— бормотал ящик.

Он прыгнул с саней, суетливо подбежал к мутному желтому глазу и стал стучать кнутовищем в стекло.

— Хозявушки! А, хозявушки! Отворитесь-ка, родименькие! Хозявушки!

Глаз смотрел попрежнему сурово и недружелюбно и не давал никакого ответа.

— Ах ты, господи!—воскличал ящик, перебегая с одного места на другое и постукивая кнутом.— Что же это они, дрыхнут, что ли? Пустите, милые, обогреться!.. Эй, хозявы! Вот, ведь, народ какой,—собаки и ж загрызи,—ни привету, ни ответу... Хоть издыхай тут...

Удары частой дробью сыпались в стены и окна, проклятия перемежались с ласковыми и нежными словами; наконец, где-то в глубине избы гулко хлопнула дверь, и в свист и шипение вьюги врезался сердитый мужской голос:

— Кто там?

— Пустите обогреться, люди добрые!—умильно просил ящик.— Заплутались... совсем замерзли...

— Не пушаем!—резко отвечал сердитый голос.— Езжайте на въезжий двор... а мы не пушаем.

— Господи-батюшка!—возопил ямщик — Да где его искать-то, въезжий двор? Ты погляди, что на дворе делается,— не токмо двор, самого себя не видишь. Пусти.

— Да вы кто такие?

— Проезжие мы. Со станции. В Покатиловку едем.

— Вона! В Покатиловку... Да это совсем в другую сторону. Кто вас знает, кто вы такие!

— Говорю тебе, с дороги сбились, и сами не знаем, куда заехали.

Дверь опять хлопнула, сердитый голос умолк. Ямщик в отчаянии взмахнул руками и плюнул.

— Ушел, анафема! Ах, разорви тебя собаки! Чтоб тебе и в гробу-то покою не было, окаянному, когда издохнешь...

Но проклятия замерли у него на языке, потому что хозяин вернулся с фонарем в руках и подошел к саням. Высоко подняв фонарь над головою, он заглянул мне в лицо, потом повернулся к ямщику и сказал:

— Идите... А лошадей заворачивайте во двор,— сейчас ворота отворю.

Они принялись хлопотать около лошадей, а я, еле двигая затекшими от долгого сиденья ногами, вошла в избу.

Изба была маленькая, тесная, в одно оконце, но поражала какою-то странной мертвенною пустотою и отчужденностью, как-будто из нее только что вынесли покойника. На полу, на лавках ни соринки; нигде ни донца, ни прялки, никаких следов обычной бабьей работы; на голых стенах ни одной лубочной картинки, какие можно встретить в самой бедной крестьянской избе,—одни образа без фольги, без всяких украшений сумрачно чернели в переднем углу. От большой печи с широким устьем веяло холодом. И мертвая тишина, и безлюдье... Только где-то наверху, под самым потолком, слышалось сонное дыханье. На столе коптила крошечная лампочка без стекла, и вокруг нее суетливо бегал тощий, голодный таракан в тщетных поисках чего-нибудь съедобного.

В сенях зашумели, затопотали, и в избу, все залепленные снегом, вошли хозяин и ямщик.

— Ну, вот и мы!—громко и весело заговорил ямщик, снимая шапку. — Еще здравствуйте! Ну, уж и погодка, забодай ее коза! Не чаял и живым быть...

Он шумно обивал валенки у порога, стряхивая с себя снег и, казалось, наполнил собою всю тесную, молчаливую избенку.

— Эко добро-то! — заговорил ямщик, отряхнувшись и присаживаясь у печи, на примосте. — Теперича только бы еще чайку горяченького... в самый бы раз! Лучше и не надо!..

— Ну, уж этого у нас нету! — отозвался хозяин. — Насчет этого не взыщите. Не то, что чаю, — хлеба-то и то...

Ямщик сконфузился.

— Да я нешто взаправду? — смущенно проговорил он. — Какой там чай... собаки его затрави... Тут, не то что чай, — рад месту... А вот покурить — покурим!

Он достал из кармана огромный кисет и стал вертеть цыгарку, а хозяин подошел к столу, прибавил в лампе огня и сел напротив меня.

— А вы что-ж не разбираетесь? — спросил он. — Просушились бы покудова. Оно, положим, у нас не дюже тепло, а все-таки...

Он не договорил и, как будто занятый какой-то другой мыслью, опустил голову на грудь и задумался.

Я стала „разбираться“ и без шубы и платка сразу почувствовала, что в избе, действительно, „не дюже тепло“. Из-под пола дуло; от стен шла холодная, пронзительная сырость. Хозяин молчал, уставившись в пол, а ямщик затягивался и говорил — говорил, видимо желая излить все свои впечатления и мало заботясь о том, слушают его или нет.

— Ну-ну, и оказия!.. Диви бы, дорога была незнаткая, а то, ведь, я ее как свой карман знаю, верное слово! А тут и сипит, и свистит, зги не видно, ну, думаю, отгулялся Егорка на белом свете! Как глядь, огонек и мельтехается, и мельтехается... Ах ты, господи, думаю, вот добрые люди-то, ночь на дворе, а они не спят...

— А кто теперича спит? — отрывисто вымолвил хозяин. — Теперича никому не до сну... Будя! Выспались... Подыматься надоть.

На лице ямщика выразилось наивное удивление, но он ничего не сказал на слова хозяина и, докуривая цыгарку, продолжал:

— А тут опять горе: подеъхали, стучимся, не отзываются. Ну, уж и ошарашил ты меня, хозяин! Пушать не хотел, а?

— Да, ведь... как пущать-то? Кто вас знает, какие вы такие... Теперича всякие народы ездют... тоже пущать-то...

— Какие народы? — с любопытством спросил ямщик.

— Да мало ли!.. Я слышу, с колокольцами... А с колокольцами, известно, кто ездит... Становой, урядник...

— Аль ты их не любишь? — спросил ямщик, и плутоватая усмешка заиграла у него на губах.

— А ты скажи, кто их любит? — жестко ответил хозяин и, помолчав, добавил: — оттого и не пушал. Думаю себе: хоть сдохни на дворе, и в избу не допущу.

— Оно точно! — согласился ямщик. — От этих добра не жди!

— Какое добро? Погибель... Все одно, как гады в болоте: облепили и сосут! Ты погляди, какой народ стал? От ветру качаемся... Все от них, от гадов. А тут еще... Мало своих... Казачья нагнали...

— У-у! — воскликнул ямщик и покрутил головой. — Казаки эти — беда!..

— Вот то-то и оно! — продолжал хозяин, выбрасывая каждое слово свое с таким напряжением, как-будто оно было тяжелым камнем. — Взял бы я их всех... связал в одно, вот как снопы вяжут... да и зажег! Гори!.. — с мрачной энергией отчеканил он.

В эту минуту в печи что-то сердито ухнуло, и вслед затем нам всем послышалось, что в наружную стену посыпались мелкие удары.

Мы вздрогнули.

— Кабыть стучат... — робко проговорил ямщик.

Хозяин вышел. Ямщик проводил его недоумевающим взглядом и задумчиво почесал в затылке.

— А хозяин-то наш чтой-то... у-ух какой! — шопотом сказал он мне, боязливо косясь на печь.

— А что?

— Сурьезный мужик...

Он не договорил. Вернулся хозяин и сел на прежнее место.

Он пристально смотрел на меня, и в его впалых, неподвижных глазах я увидела ту же неотвязчивую мысль, которая, казалось мне, владела его душой.

— Вы из каких же местов едете? — спросил он, наконец. Я сказала.

— Вон откуда! Стало быть, пошла машина-то?

— Ходит.

— Стало-быть, прикончили забастовку-то? Так... Значит, сила не взяла. А мы было думали...

— Ну, что-ж, как в ваших местах? Слышать что-нибудь хорошенькое? — снова начал хозяин. — Аль все умирляют?

Я коротко передала ему то, что видела и слышала в эти последние дни. Лицо его не дрогнуло, только глаза стали глубже и темнее.

— Так!.. — тяжело вымолвил он. — Видно, везде одно и то же. Один жернов, да вся сила в ём: сколько зерна ни сыпь, все перемелет.

— Ну, не толкуй! — вставил ящик, облюнивая свернутую цыгарку. — Бывает, и жернов об зерно перетирается.

— Перетирается, верно... Да не скоро! Сколько ему еще пудов стрескать надо? Тыщи!.. Может миллионы!

— А ты сыпь поболее! — шутиливо заметил ящик. — А то, коли зерно не берет, засыпь ему камней, да похрушше, живо треснет, прямо на две половины! Зерно — вещь нежная, ну, а супротив камней ему, чорту, не устоять!

И, довольный своим остроумием, он засмеялся, обнажив вместе с зубами крепкие, розовые десна.

Но хозяин ничего не отвечал на его шутку и, одержимый все тою же тяжелой мыслью, продолжал:

— Нет, а я что думаю... Я думаю, и у зверя понятие есть. Пусто у него в брюхе, — он бросается; нажрался — лежит. Сытый он никого зря не тронет. А эти... усмирители-то, они не разбирают. Бабы, девки, ребята малые, им все одно, лишь бы человечинной пахло... Нагадят, натопчут, настервят-ничают, — и чем ни поганее, то им слаще. Старух насильничают... А? Да у него самого-то, у подлеца, есть мать аль нет?

— Тьфу ты! — плюнул ящик, и его детское лицо болезненно передернулось. — И слушать-то гребостно... задери их собаки!

Я посмотрела на хозяина. Глаза у него стали огромные, тусклые, и из них на меня глядел черный ужас.

— У кума мово, Евдокима... бабка была... — хриплым шопотом вымолвил он. — Годов семьдесят ей было. Ну... и что-ж ты думаешь. Сволокли с печи старуху — испоганили... удавилась.

Он помолчал и с ужасающим спокойствием добавил:

— А у меня надьсь тоже... сына забили.

Затаенная мысль вышла, наконец, наружу и огромной сумрачной тенью наполнила избу. Мне почудилось, будто чья-то костлявая рука проникла в мою грудь и сжала сердце холодными когтистыми пальцами.

— О, господи! — громко вздохнул ямщик.

— Как забили? — шопотом спросила я.

— Да так... нагайками.

С печи послышались тихие, всхлипывающие звуки, точно дождь шел мелкий, тоскливый осенний дождь... У хозяина дрогнуло лицо.

— Ну, будя тебе! — сказал он, обернувшись к печи, и пояснил: — Баба моя... все плачет. Как вспомнит, так и... Один сын-то был... Слышишь, будя!

Всхлипывающие звуки замолки, в избе водворилось молчание. Мятель выла и стучалась в окно и в стены. Мужик сидел, не подымая головы; лицо его было сурово и строго, как застывшее лицо мертвеца. Потом он снова начал выбрасывать из себя тяжелые, каменные слова.

— Восемнадцатый год ему шел. Дотошный был парень. Все на станцию бегал за газетами. Бывало, погода-непогода — бежит! Много он их таскал оттуда, газет-то. Проезжие кидали. Наберет целую вязанку, сейчас на улицу, к мужикам, — и читает. Народу-то со всего села соберется. Дуже ловко читал... покойник...

— За что же его забили? — спросил ямщик.

— А забили за манифест...

— За манифест?

— За него... Долго он его дббивался, — любопытствовал.

К попу сколько раз бегал; ну, поп говорит: погоди, малый, еще объявлять не приказано; вот прикажут, — в церкви вычитывать стану. Не унялся он этим и дневал, и ночевал на станции, газет домогался. А газет нету, машина стала. Сколько из этого горя было! Грешный человек, серчал я на него: и что тебе, говорю, эти газеты? Был бы хлеб, а газетами сыт не будешь. Нет, не слухал... Ну, под конец добился. Прибег однова со станции — белый весь, как рубаха, а сам дрожмя-дрожит. Радуйся, говорит, народ! Земля и воля!.. По селу гомон

пошел... Собрались с пяти деревень и старые и малые. В колокола звонили. Подняли его, сына-то, на руки: читай! Хорошо читал..., Плакали все. Кричат: слобода!.. Теперича все равны, все братья!..

Мужик немного запнулся и договорил почти шопотом:

— Ну, и заporоли... Все хряшки перебили... Глаза выстегали... Мясо-то с костей лохмотьями слезало... Кубыть, баранья шуба...

С печи опять полился тихий, надрывистый плач. Розовое лицо ямщика побелело, глаза растерянно моргали.

— Да, будя тебе, говорят! — крикнул хозяин. — Чего там... скундеть-то... зря это.

За стеной взметнулся ветер, и мне почудилось, будто в залепленное снегом окно кто-то заглянул. Но хозяин ничего не видел и, уставившись в пол, продолжал рассказывать:

— Мужики мы... Простые, серые. Жили в яме, просвету никакого не видели. Ковыряли землю и глядели в землю. А все-таки надеялись... от бога да царя милости ждали. Думали, коли не нам, так хошь детям нашим... А тут, как пошли бунты-то эти, нас словно оглоблей по лбу... Эх, думаем, нешто супротив бога пойдешь? Бог-батюшка сам знает, что кому надо, сам терпел и нам велел... Вот те и бог... Где он был, когда Евдокимову бабку-то с печи сволокли? Стало-быть, не было его? Аль ему это нужно было? Никак не пойму... Так вот теперича сижу и думаю, сижу и думаю, и никакой веры у меня ни к чему нету... Сердце скипелось. Одно смутение... На какой тракт иттить не знаю. Вот гляжу на людей и вижу, кубыть у них когти на руках растут. Синие да длинные... а из-под когтей кровь капает. И такая дума в голове: коли вы силом, так и я силом... Будя, намолились до удавки! Чем петли-то дожидаться, бери топор.

— А давно это у вас случилось? — спросила я.

— Чего? Усмиренье-то? Да когда? Опосля Филипповок, кажись. Заговелись мы, как он манифест-то этот принес. А тут в скорости и казаков пригнали.

— За чтение манифеста?

— А за что же больше-то? Больше ничего и не было, окромя как читали. Никакого бунта не было. Родовались все... думали взаправду земля и воля. Ну, известно, народ собрался

шумели. Ребята „ура“ кричали. А ему сейчас в голову и вдарило: дескать, бунт. Он нарочного на станцию, да в губернию телеграмму...

— Кто?

— Да барин наш, Гордеев.

— Гордеев? — воскликнул ямщик, оживившись. — Так это, стало-быть, село-то ваше Гордеевка? Ну, это я знаю? Господи! да как же не знать? И барина-то знаю, сколько разов к нему акцизного возил. Дом у него богатеющий, — там сады, там ранжереи всякие, там чего только нету! Богатый барин!

— Богатый! — с угрюмой усмешкой подтвердил хозяин. — Вот оно, богатство-то это самое, и совесть у него, как червяк, выточило. Души в ем нету, — пустой он весь... заместо души-то дупло у него, как в гнилом дереве... Много горя мы от него нахлебались, а такого и не чаяли. Как донес он, стало-быть, в губернию, что у нас бунт, сейчас полсотни казаков пригнали. Сам набольший следом приехал, собрали сход. Мы этого ничего не понимали, пошли, как на праздник; думали, объявка насчет земли будет. Ан вышел подвох... Первого сына моего выхватили, а потом и зачали чесать направо и налево. Чистый ад был!.. Бабы, ребята режут, падают, землю грызут... Пришли в белых рубахах, а домой вернулись в красных... Что делали, господи боже мой! Из двора во двор ходили, сундуки ломали, одежду, птицу, овцу, — все тащили на барский двор, делили, резали, жрали. Свист, песни, гагайканье... вспомнить жутко...

От внутренней дрожи хозяин повел плечами и продолжал:

— Они и теперича у него стоят... человек с двадцать. Каждый день им по корове режут. Нешто их хлебом укормишь? Народ сытый, здоровый... ему наше ежево мужицкое не в пользу. Ну, и каждый день корова, да вина по ковшу на брата. Расщедрился барин-то... на широкую руку! Когда мы с голоду сдыхали, небось, ему бывало отрубей жалко на крестьянскую душу дать, а теперича казаков на убой откармливает, — ничего не жалко. Истинно, на убой!.. — повторил он, и странный смех, похожий на скрежет ржавого железа, неожиданно вырвался из его пересохшего горла.

С печи что-то грузно свалилось на пол, послышался тягучий стон, и в мутно-желтом свете лампочки обрисовалась



высокая фигура с распухшим темным лицом, над которым виднелись седые космы волос. Обратившись к образам, она подняла обе руки кверху и заголосила:

— Матушка! Заступница! Царь небесный! Разрази ты их, лиходеев, молоньей огненной! Исуши, развеи по белу свету черным вихорем! Чтоб глаза у них полопались, да черва утробу выела заживо... Нехай чего просят—не допросятся, нехай смерти ждуть, да не дождутся, а и мать родная чтобы увидела, да не признала, от дитя свово роженного отказалась!..

Она выла и кричала, царапая воздух скрюченными пальцами, и в груди у нее что-то хрипело и перекатывалось, и страшные проклятия ее метались по избе, как черные птицы, несущие на крыльях своих злобу и месть.

На полатях кто-то завозился, послышался испуганный детский шопот.

— О, господи! — с ужасом пробормотал ямщик.

— Баба, молчи! — сурово сказал хозяин. — Думаешь, услышит, что ль?.. Не услышит, небось...

Баба как-то сразу сгасла, как потушенная свечка, и неслышно исчезла на печи. Хозяин поглядел ей вслед и с криковой усмешкой сказал:

— Видали, какая? Подумаешь, сто лет прожила... а ей еще и сорока годов нету...

И, поведя плечами, как бы от внезапного озноба, прибавил утешительно:

— Ну, да какую ни то развязку, а сделать надоть! Ты, брат, верно давеча сказал: и зерно жернов перетирает, сыпь только поболее... Насыпем! Уж кто-нибудь один: либо мы, либо они, а вместе нам житья нету!

Опять за окном что-то метнулось, и теперь я уже ясно увидела, как к стеклу приникло чье-то лицо.

— Хозяин, — сказала я. — Кто-то в окно глядит.

Хозяин вздрогнул и быстро обернулся к окну, но там уже никого не было, зато в стену посыпался частый, дробный стук.

— Ага! — вполголоса воскликнул мужик и торопливо вышел в сени.

Стук прекратился. Ямщик, весь бледный, с расширенными от страха глазами, встал с лавки и подошел ко мне.

— Ой! — прошептал он. — Куда-й-то мы с вами заехали? Что-й-то неладно здесь... и хозяин какой-то... Кубыть не в своем уме. Аль уж поехать нам, что ли?

Дверь широко распахнулась, ямщик едва успел отскочить от меня. Но хозяин дома и не взглянул на нас. Он поспешно стащил с полатей полушубок, натянул его на плечи и подошел к печи.

— Марья! — отрывисто вымолвил он. — Брось шапку мне...

Баба кинула ему шапку и спустила ноги с печи. Хозяин взялся за скобку двери.

— А топор-то? — закричала баба. — Куда ты без топора-то?

— Да где он?

— Погоди, сейчас...

Она спрыгнула с печи, порылась под примостом, достала топор и сунула его в руки мужику.

— На вот... Да кол возьми... Аль нет, кол-то я сама возьму... Ох, родимые мои, да куда-ж это я его засунула?..

— Да тебе-то чего? Аль иттить хочешь? Сиди дома!

— Сиди? Выдумал!.. Ну, что же это за наказанье, куда он, чумовой, делся?

Она с безумной поспешностью лазила под лавками, на-вертывала на ноги какое-то тряпье, что-то роняла, подымала и торопилась-торопилась... Они совсем забыли о нас, как будто нас и не было в избе.

— Что-ж, скоро ты? — сердито крикнул хозяин.

— Постой, постой... сейчас... Вот он! — бормотала баба, вытаскивая из-под лавки огромный заостренный кол.

— А, ну тебя в болото! — сказал хозяин и вышел в сени. Баба, на ходу впихивая руки в рукава полушубка и волоча за собою кол, бросилась за ним.

— Что же это такое, а? Куда это они побегли? — шопотом сказал ямщик. — Ну, хозяева, обдери их собаки... Лучше бы нам в ометах ночевать. Аль ехать, что-ль, от греха?

— Да что же, поедем. Ступай погляди, метет или нет?

Вдруг в черную тишину избы влились какие-то стонущие звуки, и могильный мрак задрожал и заплакал.

— Что это такое? — прошептала я, чувствуя прилив безотчетной тоски и страха.

— Где? — заикаясь, спросил ямщик.

— Слышишь?.. Кричат...

Мы стали слушать.

— Набат! — дико закричал ямщик. — Ей-богу, набат!.. Это они... — И он ринулся вон из избы, со всего размаху хлопнув дверью.

На полатях залепетали испуганные, сонные голоса, и слышался громкий плач. „Мамка! Мамка!“ — кричал ребенок.

— Ш-ш!.. — зашипели на него. — Чего ты, дурочка? Мамка сейчас придет... Спи, а то казак нагайкой запоря...

„Казак“ подействовал, и ребенок замолчал, давясь слезами и тихонько всхлипывая.

— Не плачь, дурочка... — нашептывал ему другой пугливый голосок. — Услышит, беда будя!.. Плетки у них дли-и-ные, ремневые... застегают до-смерти, как Ванюшку...

В сенях затопотали, в избу ворвался ямщик и задыхающимся голосом сам воскликнул:

— Едем! Ничего, можно... Разгуливается погода-то! Так, чуток порошит, да это ничего, теперича не заблудим. Одевайтесь скорее, а я закладывать побегу!

На дворе было бело от выпавшего снега. Начинало морозить. Мятель стихла, но небо еще было затянуто мрачной мутью, изредка ронявшей наземь одинокие снежинки. Смутно виднелись очертания изб, но нигде ни огонька, ни звука, ни души живой. И среди этого жуткого безлюдия только ревел, стонал и рыдал набат.

Мы тронулись. Однако, не успели проехать сажени сто, как вдруг из сумрака вынырнула какая-то длинная, темная фигура и перегородила нам дорогу. Еще дальше появилась другая фигура, потом третья, и мы очутились в плену.

— Стой! Кто такие? — послышался хриповатый окрик.

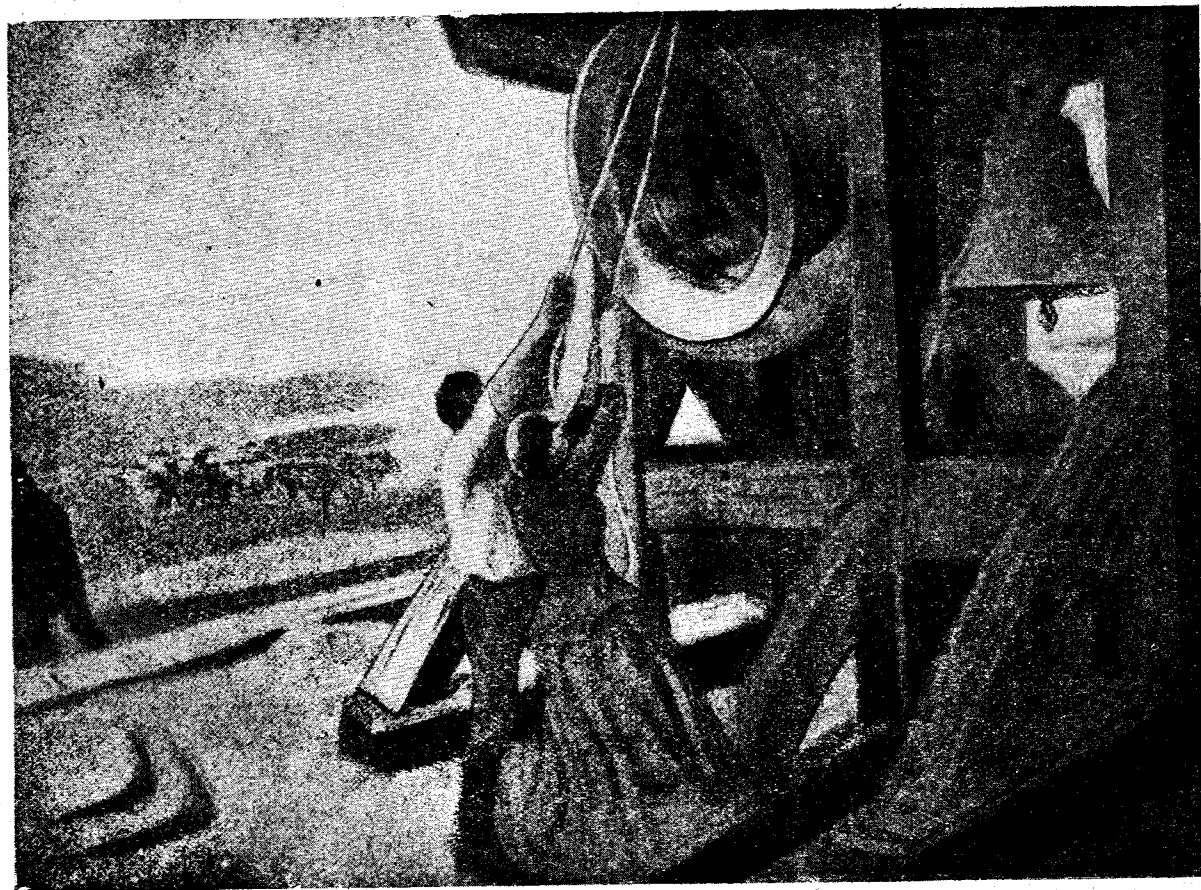
— Мы, дяденька, проезжие! — заискивающе отвечал ямщик, сдерживая лошадей. — Со станции ехали в Покатиловку, да сблизись, вот и плуаем ночным делом... Прямо беда!

„Дяденька“ подошел ближе и остановился около саней, пытливо всматриваясь в меня. В руках у него было что-то длинное, — не то вилы, не то громадный кол.

— Много вас тут плукает... — пробурчал он.

„Дяденька“ подумал и сказал уже более добродушно:

— Ну, ладно... езжай!..



Деттман

КРАСНЫЙ НАБАТ

Ямщик ударил по лошадям, и мы понеслись, как бешеные, оставив позади себя и ряды безмолвных изб, и темные фигуры грозных стражей, вооруженных вилами и кольями. Звуки набата летели нам вдогонку.

Мы мчались долго, не оглядываясь назад и не говоря ни слова.

Только когда миновали околицу, и вокруг нас разостлась гладкая, белая пустыня, ямщик остановил храпевших от бешеного бега лошадей.

— Ну, и дела! Вилы-то у него видали?

Пустив лошадей итти шагом, ямщик, не торопясь, свернул дыгарку, закурил и только-что повернулся ко мне, чтобы удобнее было беседовать, как вдруг весь осел и ахнул...

— Глянь-ка-ся! Глянь-ка-ся!..

Я поглядела назад. В сумрачной глуби ночного неба, словно гигантский факел, стоял багровый столб огня и дыма.

— Это усадьба!..—сказал ямщик дрожащим голосом.—Она самая...Прощай, теперича, гордеевский барин!Здорово полыхает...

Огненный столб взвивался все выше и выше, и белая пустыня стала наливаться горячим румянцем.

— Ловко горит...— со вздохом сказал ямщик.—И что там теперича делается-и-и-и!.. Дело ночное, живым не выскочишь.. Казаки-то, небось... Народ сытый, пьяный,—где лег, там и заснул... А просыпаться на том свете придется! Стр-расть!

— А может, еще потушат? — нерешительно заметила я.

— Потуша-ат? — повторил ямщик, и в голосе его мне почудилось что-то злорадно-насмешливое.— Да нешто они дадут тушить? Ка-ак-же!.. Видали вы их, какие они. Баба-то?.. Да ей попадись, она глотку перегрызет и кровь пить станет... Нет, не потушат. Все сожгут до капельки, ни синь-пороха не оставят. И раншерей, и винный завод, и ригу,— все изничтожат... Одного хлеба у него, небось, сколько тыщ пудов.—И, подобрав вожжи, он крикнул на лошадей:— Ну, голуби, заснули? Вмазывай!..

Лошади встрепнулись и подхватили. Дорога пошла под гору, сани летели, как пух, и скоро багровый свет побледнел, стал таять и слился с белой мутью ночи.

Спустившись в ложбину, лошади опять пошли шагом; ямщик поднял голову и стал смотреть на пламенеющую даль.

— Заведение огромное, дня три дымить будет,— в раздумье говорил он.— Хорошо жили, весело!.. Видал я, как акцизного туда возил. Бывало, летом, поглядишь... Хорошо! Все окна настезь, музыка играет—орган, что ли... Галдеря во весь дом,— господа сидят, либо чай пьют, либо кушают. И цельный день так-то, без передыху... сыто жили, в свое удовольствие. А вот теперича в одну минуту ничего нету... Огонь-то что делает, а?

— Э-э... да вон еще!— перебил он сам себя, приподымаясь на облучке.

— А что?

— Да пожар... Вон, во-он!.. Поглядите-ка!

Он показал кнутом направо. Там маячило смутное, но широкое розовое пятно. Точно луна восходила.

— Каждый день жгут, каждый день!— продолжал ямщик взволнованно.— Надясь я дохтора возил, так в четырех местах краснелось. Ажно ехать жутко... Это, смотри, не Воропановские ли хутора горят. А может, князя Хмелевского сахарные заводы... Там тоже летось усмирение было...

Он помолчал, глядя на переливы далеких пожарищ, потом вдруг воскликнул:

— Горит Рассея!.. Горит матушка! Верно хозяин-то давеча сказал: уж кому-нибудь одному, а что-нибудь из этого будет... Ну, валяй, ребяташки,— ехать светло, теперича не заблудим...






Н. СЕРАФИМОВИЧ

## ПОХОРОННЫЙ МАРШ

### I



Они шли среди огромного города густыми чернеющими рядами, и красные знамена тяжело взмывали над ними, красные от крови борцов, щедро омочивших их до самого древка.

Они шли между фасадами гигантских домов, испещренных лепными орнаментами, статуями, мозаикой, живописью, равнодушно и холодно глядевших на них блеском зеркальных окон. Город шумел обычной, неизменяемой жизнью. И среди каменных громад, среди заботливо-равнодушно торопящейся по тротуарам публики над их бесчисленными рядами, как тысячеголосое эхо, носилось:

— ...рабочий народ!..

И гордо, и чуждо неслись эти крики.

Гордо неслись над черными рядами, бесконечно терявшимися в изломах улиц.

Чуждо звучали среди каменных громад, среди роскоши зеркальных витрин.

С веселыми безусыми лицами шли молодые.

Сурово-сосредоточенно шли старики, быть-может, все еще борясь с таившейся в глубине души привычкой рабства, с темной боязнью новизны впечатлений, все опрокинувших. И с испуганным изумлением оглядывались они на руины вчерашнего дня.

Мелькали черные козырьки, сапоги бутылкой, пиджаки, черные пальто. Носились шутки и остроты, вместе с толпой плыл говор, гомон, и, местами покрывая, веселыми взрывами вырывался смех.

— Товарищи, держите равнение!..  
— Да все Ванька выпирает.  
— Вишь, у него брюхо колесом, и забастовка его не берет...

— С запасом, стало...

...  
— Да-а... приходим, сейчас дежурный: что угодно? Так и так, депутация от рабочих. Ждем. Выходит генерал. Ну, мы скинули шапки...

— А вы бы и штаны скинули...

— Ласковее бы стал.

— К ноге дал бы приложиться...

Рассказчик конфузливо-сердито замолкает, и по рядам густо несется добродушно-иронический смех.

Весело, беззаботно идет толпа, как будто эти чистые прямые, широкие улицы, эти фасады, испещренные лепными украшениями, как раз были предназначены для них, случайных здесь гостей, для этих черных рядов, развертывающих почувшую себя силу.

И ряды проходят за рядами, и реют знамена, и плывет:

— „Нам не ну-ужны зла-ты-ые ку-у-ми-и-и-ры“...—и разрастается, захватывает и, густо дрожа, заполняет улицы, площади, овладевает городом, подавляя на минуту его беспокойно-крикливую жизнь, разрастается в нечто могучее, не своей наивной неуклюжестью поэтической формы, а всколыхнувшимся чувством глубоко взволнованного моря, почувшего человеческое. И в этом густом, все заполняющем гуле шагов слышалась гордая сила, познавшая самое себя.

## II

— Товарищи!

Его высоко поднимали над чернеющим морем голов, и далеко был виден он, и голос его звучал отчетливо и ясно.

Передние ряды задерживались, задние подходили, становились все гуще, и текучая людская река останавливалась, как в молчании останавливаются шумные воды, прегражденные в русле своем.

Звук шагов замер и только глухо и мощно доносился из дальних улиц.



— Товарищи!.. даже окинуть я не могу ваших рядов, но... — он поднял руку, и голос его окреп, — не в численности наша сила. Вот мы идем, идем безоружные, с голыми руками, руками, на которых только мозоли. Перед физической силой мы — слабее ребенка. Десяток вооруженных людей может затопить нашей кровью улицы. Почему же враги в злобном ужасе озираются на нас.

Он приостановился. И стояло великое молчание. И он окинул неподвижное чернеющее море и прислушался к далекому мощному гулу еще идущих.

— Не руки наши страшны врагам, страшны сердца, страшно наше прозрение, страшны горячие сердца, бьющиеся неутолимой жаждой свободы. Как черная зияющая бездна, раскрылось наше сознание. Мы увидели наше глубокое рабство, мы увидели наших поработителей. Собравшись, мы стали на одном краю бездны, а наши поработители — на другом, и поняли мы: нет нам примирения. И они поняли: нет им примирения.

Он говорил им о вечной борьбе поработителей и поработленных, говорил о железном ходе исторической жизни, который неумолимо сотрет главу змия власти человека над человеком, говорил о вещах, которые они тысячи раз слышали, знали наизусть, сами могли говорить, и все-таки жадно, не отрываясь, ловили его слова, ловили много раз слышанное, ибо оно не утрачивало для них девственной прелести новизны. Как любовь для юноши, старое для человечества было вечно ново для человека.

И снова течет черная река между неподвижными громадами, яркими пятнами краснеют знамена, и слышится говор, гомон и смех, и, мешаясь с непрерывным гулом шагов, торжественно плывет:

— „На-ам не нужны зла-ты-ые ку-уми-и-иры“.

А из дальних улиц все выходят и выходят бесконечные ряды.

Далеко в дымке теряющейся улицы смутно засерело, как сереет печальная отмель в пустынном море, плоская и безлюдная, печальная отмель, над которой носятся белые чайки. Поднялись у всех головы, раздулись ноздри, собрались складки между бровями.

### III

- А-а!
- Где?
- Вон...
- Какие?
- Не видишь...
- Они!.. Они!..

Как тревожные ночные звуки, срывался говор, передаваясь трепетом неопределившегося беспокойства.

А серая отмель вырастала и из печальной и скучной становилась грозной. Ясно стало: это — люди, серые, одинаковые. Солнце играло на остриях оружия.

Было у них одно лицо, неподвижное, немое, как каменное лицо валуна среди мшистых скал, от века нагроможденных. Тусклые глаза мутно глядели на приближавшихся.

А те шли тесно, взявшись за руки, и над чернотой бесконечных рядов кроваво реяли знамена, и стоял все тот же густой, непреградимый, упорный, все заполняющий гул шагов.

### IV

Офицер полуобернулся к солдатам и сказал слова команды.

Горнист поднял рожок, раздвинул усы, приставил к губам, надул щеки. И разом вся огромность, все значение больно сверкавших штыков, черно зиявших пулеметов перешло к одному человеку в серой шинели.

Словно испытывая всю мощь, весь ужас, который сосредоточился в нем, он оторванно бросил этим тысячам жизней три коротких звука.

Дружно блеснув, покачнулись штыки, и сотни их послушно легли на руку, остро протянувшись к надвигавшемуся живому морю и безмолвно глядя чернеющими дулами. Передняя шеренга серых людей опустилась на колено, и пулеметы жадно глядели на неумолимо приближавшиеся живые тела.

Смолк говор, потух смех. Настала звенящая тишина и все больше заполнялась звуком шагов. И этот нарастающий гул шагов наполнил мертвое молчание, и стоял над улицами, площадями, царил над примолкшим городом.

Разрушая напряжение, над тысячами обреченных, тысячами молодых и старых голосов, могуче зазвучал похоронный марш:

— „Мы же-ер-тво-ю па-а-ли в борь-бе-е ро-ко-вой“...

Как прощание, восходило пение к бледному небу, к кровавому солнцу, к каменному городу, затаившему шумное дыхание, и народ, толпившийся по переулкам, вдоль тротуаров, народ снимал шапки им, идущим.

— „...лю-бви без-за-вет-но-й к на-ро-о-ду“...

Как погребальный звон, плыло над ними:

— „...мы от-да-ли все, что могли за не-го“...

Лица были бледны, глаза светились, и шли они, как обреченные.

Розовато дымящийся туман окрашивал солнце, дома, лица и острой волной набегал кровавый запах и чувствовался на языке приторно знакомый привкус.

Пространство между надвигавшимся погребальным шествием и серыми шинелями, страшное пустотой смерти, таяло, как догорающая жизнь.

— „...но грозны-е бук-вы дав-но на сте-не чер-тит уж ру-ка ог-не-ва-я“...

Тысячи людей шли, тысячи людских голосов звучали погребальной песнью, торжествующей песнью смерти, и на лицах, и на белых стенах домов траурно реяли черные тени знамен.

## V

Офицер, с бережно зачесанными кверху усами, холодно мерял привычным глазом неумолимо сокращающееся расстояние, блеснул, подняв руку, саблей, и губы шевельнулись, произнося последнее слово команды.

Страшные секунды ожидания покрылись:

— ...„про-щайте же, бра-атья!“...

И в то же мгновение исчезло пространство смерти, затопленное живыми, движущимися рядами. Как сверкнувшая вода, блеснули покорно поникшие к земле штыки, и солдаты, растерянно и радостно улыбаясь, потонули в человеческом потоке; лица их были бледны, и у каждого было свое особое молодое лицо. Растворилась серая преграда в бесконечно чернеющих надвинувшихся рядах, как скатившийся с кремнистого берега гранитный валун в набегающих волнах.

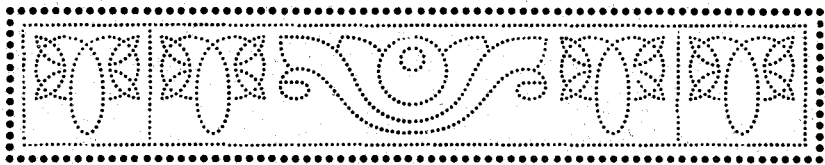
Отвернувшись, офицер опустил ненужную холодную саблю. Глупо глядели пулеметы.

Десятки тысяч людей шли, пели гимн смерти, и торжественно и могуче из могильного холода и погребального звона вырастала яркая, молодая, радостная жизнь и сверкала на солнце, и играла на лицах тысяч людей, и народ, густо черневший вдоль улиц, несмолкаемо и исступленно приветствовал их.

Кровавая дымка подобралась и растаяла. Исчез приторный привкус и острый, раздражающий запах.

Солнце сияло, и город снова зашумел тысячами задержанных звуков.





А. ЯКОВЛЕВ

## П О Р Ы В Ы

### I



Иментный завод „Цепь“ широко и плотно уселся на самом берегу Волги, верстах в двух от города, если идти по терсинской дороге. Лет пятнадцать назад на этом месте был глухой лес: дубы, старые, как время, спускались до самой воды, а в высокое половодье так и в самую воду заходили по колено; а теперь здесь тянутся в небо гигантские красные трубы, и над трубами, как помело, колыхается живое облако сизого дыма. Белая пыль стоит столбом над кирпичными корпусами завода, над Волгой, над белой горою и над ближним лесом. Срублены, умерли старые дубы. Редко-редко кто из них остался, заблудился среди красных корпусов — вон у конторы два дуба осталось, у жилых казарм с десятков — и стоят они, осыпанные от маковки до пят белой пылью, слушают полуденный и полуночный грохот, вспоминают свою молодость, тишину, пение птиц и грустят. О, уйти бы из этого белого и грохочущего ада!..

Белая гора — Маяк — высокая, с нее Волгу на двадцать верст вверх и на столько же вниз видно, с нее, по преданию, Степан Разин наблюдал за плывущими судами, и эта гора призадумалась.

Тишь-то была какая! Бывало, пролетит над вершиной волжский коршун с серебряной рыбкой в когтях, крикнет торжествующе, прошумит ветер, иногда прогремит гроза. И тихо.

А теперь и день и ночь грохот. И нет ни единого часа тихого. Смотрит гора вниз — кипит там работа, как в котле. С визгом и грохотом летают вагонетки; горят ослепляющие огни;

с барж по длинным мосткам к заводу, бесконечной вереницей тянутся тачки с желтой глиной; в бондарке, где строят бочки для цемента, оглушительно визжат электрические пилы и рубанки; всюду мелькают люди, лошади; на склоне горы, где еще совсем недавно рос мелкий кустарник и в нем пели птицы, теперь построено длинное, деревянное здание, вырыты глубокие ямы, из которых каждые пять минут вагонетки по воздушным канатам тащат вниз к заводу сверкающий мел — лучший мел для цемента. В глухую полночь, на заводском дворе светло, как днем...

А как это можно жить без сумерек, без темноты, думающей?...

— Нет, — думает старуха гора, — это не жизнь — ад.

Правда, ад. Недаром же люди, как вырвется свободный часок, тянут в лес, от завода, вон туда, на широкий Уступ, — там у них есть любимое местечко, где они собираются, разговаривают, иногда поют, пляшут, иногда ссорятся... Всяко бывает. Там вольготно забытья от грохота и от пыли заводской едучей, вольготно глянуть на небо, на Волгу, на лес, незапятнанные дымом.

## II

И повелось давно вот так: с ранних дней вешних, каждое воскресенье, как завтрак отошел, — слышь, захлопали двери в жилых казармах, забегали нарядные девки по коридорам.

— Эй, соберайся живее. Идем!

— Куда?

— На Уступ. Скорее, скорее.

И пойдут. Нарядные — в белых, желтых, синих и малиновых кофтах, в разноцветных косынках, с красными и голубыми лентами в волосах, будто сама дуга-радуга их одевала.

И только выйдут за заводскую ограду, теребище не пройдут, как сейчас:

— Машенька, запевай-ка!

А Машеньку и просить не надо. Этак тряхнет она головой, моргнет серым лукавым глазом, вся шевельнется, могучая да ядреная, как орех наливной, и затянет:

Позарастали стежки-дорожки,  
Где проходили милого ножки.

И всей пестрой артелью подхватят девушки знакомые слова, аж эхо откликнется в лесу и в подгорье:

Позарастили мохом-травую,  
Где мы гуляли, милый, с тобою.

Хорошо!...

Вот и нынче — запели, доходят до мостика, что в прибрежном лесу через ручеек перекинут, а из-под мостика гурьба парней, — с хохотом, шутками, лезут, балуются, тоже все принарядились...

— С праздником вас!

Этот Федька Лысяков — он озорной, выдумщик: лезет прямо к Машеньке целоваться, картуз снял.

— Христос воскрес!

А пасха-то уж три недели, как прошла. Машенька ловко поймала его за руку, дернула, повернула его спиной к себе, толкнула рукой между крыльц, у Федьки аж волосы вздыбились, нелепо замахал он руками, еле на ногах устоял. Звонко засмеялась Машенька, показывая белые зубы. И девки засмеялись, и парни, и сам Федька смеется...

— Что? Съел?

— Ну, и озорная ты, Маша, — пробурчал Федька, — прямо сказать, атаман Устя.

Побалагурили, дальше вместе пошли, с шутками, с криками, с хохотом звонким девичьим. Опять запели. Все вместе. Стройно... Терсинские мужики в это время из города с базара ехали, примолкли, прислушались.

— Хорошо поют заводские.

Федька все норовил рядом с Машенькой итти, раза два пытался ее за руку взять, да ведь девка-то с норовом: вырвет сердито руку из Федькиных цепких лап и, не прерывая песни, погрозит ему пальцем:

— Не тронь!

### III

Приуныла вдруг Машенька: смола этот Федька, пристал — не отлепишь. Ну, какой он жених? Довольно она нагладелась на мужей пьяниц и картежников. Сколько на заводе таких-то? Еще одну несчастную хочет сделать? Нет, она не таковская. Уж если выберет себе мужа, так выберет настоящего. И будто

не замечая серых пытливых глаз Федьки, она заговорила с подругами, опять сбила всех гурьбой и опять все пошла к Уступу.

А Уступ за Сутягиным ключем. Так прозывался глубокий овраг, на дне которого бежит родниковый ручеек. Здесь когда-то городские и терсинские мужики подрались кольями из-за земли и лет сорок потом судились — сутяжничали. С тех пор ключ и прозван Сутягиным. Глубокий овраг, прохладный, и дух такой в нем густой, весенний. Свернула с дороги Машенька, обрывистой тропкой сломя голову вниз пустилась бежать, а парни и подружки с хохотом, с криками — за нею. Даже земля загудела.

Выбралась Машенька на другую сторону оврага, запыхалась, стала малиновой, повела плечами, оправилась — глядь, а на тропинке кто-то стоит... В шляпе, с тросточкой в руке, по всей груди от самой шеи распустился пышным бантом голубой галстук.

— Мария Ефимовна, мое вам почтение.

Раскрыла удивленно глаза Машенька, пуше зарделась вся. Павел!... Да каким же франтом-то!..

— Здравствуйте, Павел Петрович, — сказала срывисто она. И в горле даже запершило от волнения. Маша... ее конем не задавишь, а здесь смутилась так, что в глазах зарябило, видит только бант голубой, улыбку Павла. А Павел уже здороваются с другими:

— Танечка, здравствуйте, Дмитрий Васильевич, мое почтение.

Говорит-воркует, и кланяется так вежливо, с перегибом, ровно бухгалтер Иван Константинович.

И всем лестно с таким чистяком поздороваться. Вот вам, наш брат мастеровой, а как одевается, какое обхождение знает! Теперь и начальство его отличило: недавно табельщиком сделало.

И все так хорошо с ним здороваются.

— Павлу Петровичу, как жив-здоров?..

Только Федька — Федька вышел, запыхаясь, из оврага, и сейчас:

— Э, да какой ты нынче, Пашка, красивый при голубом ошейнике-то. Чать, рубля два с полтиной за красоту-то заплатил? А?



#### IV

Эх, хорошо жить! Что труд тяжелый, если он спорится? Что тучки на небе, если знаешь, что завтра будет день хороший, летний, солнечный.

И прежде жила Маша не унывая, а теперь — когда же унывать.

Все ясно, все хорошо, весело.

В половине шестого заводской гудок будил ее. Поспешно поднимается она с узкой девичьей кровати, подбежит босая к окну, глянет, — а Волга легким паром курится, широкая блестит на солнышке серебряными чешуйками. Засмеется Маша, сама не знает чему, волчком забегает по коморке, собираясь, а в шесть, ко второму гудку, вместе с толпами рабочих идет через контрольную будку на заводской двор. Молодые, старики, бабы, девушки... Отдохнувшие, веселые, бодрые, смеются, зубоскалят.

А завод уже совсем проснулся и, как разгневанный зверь, ворчит, хрипит, пытит. В дробилке раздается громовой грохот, — там тяжелые тиски дробят меловые глыбы, что вагонетками доставляются с горы Маяка. В главном корпусе, окруженном высокими трубами, гудят американские вращающиеся печи, в которых раскаленный газ обжигает сырой цемент. В другом здании мельничные жернова с тяжелым урчанием и скрипом размалывают цемент в мелкий порошок. В бондарке воют электрические пилы и рубанки. Из слесарной несутся звонкие удары молота по железу...

Все кипит и мчится в неудержимом беге, зажигает, захватывает. И только покажется во дворе Маша, как этот шум властно подхватит ее. Через двор по пыльным плитам поспешно пройдет она в насыпную — длинное серое здание, сплошь закутанное цементной пылью, и бодрая и смеющаяся примется за работу.

В насыпной полумрак от пыли: цемент, перемолотый жерновами, осыпается по желобам в боченки и густым облаком летит в воздух. Насыпщицы и насыпщики работают с закутанными головами, с завязанным ртом, чтобы тяжелая цементная пыль не попадала в легкие. Все они серые от пыли и работают молча. Ловко подставляют они боченки под желоба, потом перекатывают их на весы, потом из вагонетки и по рельсам везут через

двор в другое здание — заделочное, где уже другие рабочие пристраивают боченку второе днище, оклеивают ярлыками и увозят дальше, в склады. Маша ловко вкладывает бумагу в пустой боченок; ловко подставляет его под желоб, утрясает и, полный цемента, тяжелый, перекачивает на весы. Привычные руки крепки... А глаза под серыми запыленными бровями смеются лукаво. Крикнула бы, пошутила бы, да рот завязан. И только, когда доходила очередь и Маша вместе с другими работницами везла боченки на вагонетке в заделочную, она отряхивалась на дворе и, вздохнув глубоко, рассыпалась смехом.

— Что ты, Маша, нынче веселая такая? — спросят подруги.

— А так. Хорошо.

И, опершись мускулистыми, ядреными руками в железную стенку вагонетки, она волокла ее, вся изгибаясь. А встречные рабочие глядели жадно и откровенно на ее изогнувшийся стан и зубоскалили.

— Эх, девка-то, люли-малина!

— Что, аль завидно?

— Да, господи, как же не позавидовать?

И смеются все, показывая белые зубы. И Маша смеется сама.

В полдень обед и короткий отдых. Потом опять работа, чуть-чуть ленивая, — до вечера. В шесть опять гудок — и поспешно бежит Маша к воротам, к выходу.

Толпа теперь утомлена, измучена, но шутки и смех дрожат в воздухе: все рады, что кончился тяжелый день, что теперь можно отдохнуть.

И солнце за горы не уйдет, а Маша, умытая и принаряженная, уже за заводской оградой, на притеребу, в хороводе... И песни и пляс, и Федькина гармоника, — умри, и то проснешься. Павел придет — чистяк такой, он и польку может протанцевать, и разговор может на манер господского. Сразу видать, не шантрапа какая-нибудь.

Первые дни Маша немного боялась за Павла: как бы Федька беды какой не сделал. Ему что? Он на все решится. Но нет, ничего не случилось. Как-то после троицы, вечером, встретила Маша с ним на дороге.

Федька ястребом к ней.

— Так, Маша, так, — сказал он укоризненно.

— Этак, Федя, этак, — в тон ответила ему Маша.

— Значит, покорнейше прошу в сторону? По чужой дорожке ходишь, чужую траву топчешь?

— Выходит, что так.

— Ну, что же, это мы поглядим.

— Погляди, коли хочешь.

И ушел Федор, ничего не сказавши. А теперь только посмотрит эдак издали завистливыми, пронзительными глазами — Маше даже не по себе станет, вроде, как жаль парня. И приятно в то же время.

Ну, да не менять же сокола на ястреба.

Раз подговорила она подруг. Заставили они Федьку играть плясовую, а сами с платками в руках в пляс пустились, каблуками ловко пощелкивают, поют смеючись, заливаются:

Ах ты тпруська, ты тпруська, бычок,

Молодая телятинка,

Отчего же ты не тешишься?

Да на что же ты надеешься?

Ах ты, Федя, ты, Федя, дружок,

Удалая ты головушка,

Отчего же ты не женишься,

Да на что же ты надеешься?

То-то насмешили. Хохотали все до упаду над Федькой, а тот лишь головой крутил, пуще всех смеялся.

— Ну и Маша! Ну и бой-девка!

И вот чудеса: помирился ведь Федор с Машей. На нет и суда нет.

Пошли для Маши дни веселые, полные новой, неизведанной любви.

## V

И не заметила Маша, занятая своею любовью, как в размеренную жизнь завода вдруг ворвалось что-то новое. Откуда-то пошли слухи об увольнении рабочих, о сокращении заработка, слухи неясные, но сразу заставившие насторожиться. Пожилые семейные люди заволновались. Вечерами на лавочках возле казарм, где был „бабий клуб“, говорили уже не о разбойниках и кладах, а вот об этих слухах. И тревожились.

- Ежели это правда, куда мы денемся? Куда пойдем?  
— Ну, глядишь, до нас не дойдет.  
— А если дойдет?  
— Авось, бог помилует...

Но бог не помиловал: дошло.

Раз утром — это было после Ильина дня — Маша с удивлением увидела перед контрольной будкой большую шумную толпу рабочих. Гудок уже прогудел, но никто не шел во двор.

— О чем тут шумят? — спросила она у бородатого рабочего.

— Да вот каталям сбавили, а те работать не хотят. И других рабочих просят не работать, чтобы поприжать контору, — живо ответил рабочий.

Резкие крики стояли над толпой. Рабочие спорили, кричали, ругались. Каталя — симбирские мужики, все богатыри, как на подбор, — стеной стояли перед будкой, загораживая проход.

— Выручай, братцы, нынче нас прижали, завтра вас...

— Правильно! Вместе надо действовать.

— Как это вместе? Каталя не рабочие. Волга замерзнет, они все домой уедут. На печке спины греть будут. Их дело особое. Они — мужики...

— А ты из мужиков давно ли? Две зимы проработал и уже нос гнешь?

— Правильно, вместе надо. Поддерживай, ребята!

— Забастовку объявить! — крикнул чей-то молодой голос в середине толпы: — Если дадим наступить себе на ногу, нас заедят. Рабочий за рабочего должен горой стоять. Мы все из одной конуры, все одним миром мазаны. Разве теперь время разбирать, что каталя зимой делают?

Толпа примолкла. Кто это говорит? Маша поднялась на дыпочки, глянула через головы.

— Ой, батюшки! Это ведь Федор Лысяков. Что с ним такое стало?

— К конторе! К конторе!.. — зашумела толпа.

И не через будку, а через ворота всей толпой, шумной, возбужденной, пошли к конторе. Шли, поднимая пыль, решительные. Впереди каталя и с ними Федор. Загорелась любопытством Маша и тоже вперед пробралась. Сердце в ней забилося, руки и ноги странно загудели...

Из-за корпусов еще показались рабочие—ночная смена, слились с толпой, пошли вместе. И суровой молчаливой массой подошли к конторе. А там уже их ждали. Коренастый помощник управляющего стоял на крыльце. Черный, как жук, злой. Только толпа сгрудилась, он резко закричал:

— Бунт затеяли? Или забыли прошлое? Сейчас же на места! Табельщики, идите по мастерским и записывайте, кого нет на работе. Потом мы поговорим с теми. А вы,— резко сказал он, обращаясь к толпе,— марш на работу!

Повернулся и пошел с крыльца. Табельщики один за другим стали пробираться через толпу, и Павел между ними. Толпа заревела от гнева. Федор решительно сдернул с себя фуражку замахал ею в воздухе и закричал:

— Стой, братцы, так нельзя! Аль мы собаки, что нами собираются помыкать?

В густом шуме нельзя было разобрать отдельных слов. Видно было, как рабочие выскакивали на крыльцо конторы, махали руками, что-то кричали и снова ныряли в толпу.

— Забастовку, забастовку!— кричали отдельные голоса.

— Э, какая там забастовка! Глядите-ка, вон за табельщиками народ как повалил.

Глянула Маша,— и правда. Пока у крыльца яростно кричали, рабочие гужом потянули к корпусам за табельщиками. Шли и сами себя смущенно оправдывали:

— Нет, не дружный у нас народ...

Сбавили катаям, оштрафовали Федьку, пригрозили уволить, тем дело и окончилось. Над Федькой смеялись. Кричали ему вслед: „Эй, забастовщик!..“

И над катаями подсмеивались:

— Ну что, забастовали? „Стой дружно?..“

Маша тоже подсмеивалась над Федькой. И после этого случая будто дороже ей стал Павел. Вот он не вмешивается не в свое дело, над ним уже никто не подсмеивается...

## VI

И вдруг случились события, которые сразу перевернули всю жизнь завода, а вместе и жизнь Маши.

Как-то ночью из города приехала полиция, жандармы и арестовали человек двадцать рабочих. Когда арестованных

увозили, по всем казармам слышался истерический плач. Тюрьма — для всех это было страшное слово. На следующую ночь арестовали еще человек десять.

Между другими рабочими хотели арестовать и Лысякова, но тот успел скрыться.

Пошли слухи, что будут арестовывать всех, кто ходил на собрания. Рабочие заволновались. Как бы в отместку за аресты, в одну из ближайших ночей кто-то разбил стекла в квартире управляющего и поджег штабеля леса, заготовленного для заводских построек.

У рабочих появились прокламации. Каждое утро на дверях у заводской конторы и у ворот вывешивались угрожающие объявления за подписью самого управляющего, а ночью эти объявления кем-то срывались и заменялись прокламациями.

Имя Федора Лысякова теперь не сходило с уст. Хотя его никто не видал, но все говорили, что это он действует. Аресты продолжались. Те из рабочих, кто постарше годами, присмирели, а молодежь, наоборот, начала бравировать.

— Тюрьма? Пусть тюрьма! Все в тюрьму пойдем!

Тюрьма скоро стала слишком обычной, и страх перед ней начал исчезать. На завод привели стражников. Но в первую же ночь кто-то поджег дом, где они спали... Кто-то портил дорогие машины и материалы.

Работа, такая налаженная, сразу заколебалась. Все работали плохо, нервничали, неуверенные в завтрашнем дне. Молодежь открыто говорила, что надо разбить тюрьму и освободить товарищей. В городе, где волнения начались еще раньше, убили пристава. Незнакомые люди появились открыто в мастерских, устраивали сходки. Иногда на этих сходках выступал и Федор, хотя все знали, что его и день и ночь ищут стражники.

Администрация грозила закрыть завод, но угрозы не действовали. У всех было новое чувство, будто небо сейчас обрушится на голову.

И вот однажды по всему заводу была расклеена дерзкая грамота:

„Ждите, товарищи, решительного боя. Ночью, когда в городе зазвонит набат, вооружайтесь, кто чем может, идите выручать товарищей“.

Спиридониха плакала:

— Господи, вот времена пришли, жизни не рада. Утиши ты, господи, вражду сердец их. А все эти социалисты окаянные! Не будет им добра ни на том, ни на этом свете. Жили мы тихо, мирно, а теперь ни одной ноченьки спокойной. Все ждешь— вот-вот придут, заберут моего пьяницу.

Маша вспомнила „тихую и мирную“ жизнь Спиридонихи, постоянные ссоры и драки с мужем, постоянную нужду — и смеялась про себя. Ей-богу, ей нравилось теперь... Жутко, а хорошо. Вечерами, когда вполголоса говорили о Федьке, он казался ей героем. Одни его ругали, другие хвалили.

— Это вот молодец! Это вот заварил кашу!

Но, словно сжатая двумя стенами — Павлом и Спиридонихой, Маша молчала, стояла в стороне, занятая своим маленьким личным счастьем...

А весь завод ждал решительного часа. И час пришел.

Ночью тревожно завопил заводской гудок. Маша в ужасе соскочила с кровати, дрожащими руками оделась в темноте и выбежала на крыльцо. Из всех дверей бежали рабочие, одеваясь на ходу. Слышались истерические крики женщин. У ворот завода гудела толпа, вооруженная кольями, железными палками, охотничьими ружьями. На высоком шесте над толпой развевался красный флаг, при электрическом свете казавшийся темным, почти черным. Толпа быстро увеличилась.

— В город, — выручать товарищей! — слышались крики.

А гудок все выл. И в те короткие моменты, когда он останавливался, слышно было, как в городе тревожно звонили: дон-дон... дон...

— Все собрались?

— Все. Завод остановлен.

— Ну, двинулись, двинулись.

И толпа тяжело дыша, как тысячеголовый зверь, пошла к городу. Вдруг вспыхнула песня: „Дружно, товарищи, в ногу“...

Маша, толкаясь, пробиравась к флагу. Там гуще толпа. Она вся дрожала, как в ознобе. Ей казалось, что вот сейчас откуда-то выскочат стражники и произойдет страшное. Но их не было. Толпа шла берегом Волги. Вот прошли завод, стали подходить к Белому утесу, за которым открывался город. Все шли

плотной массой, дышали жарко. И все казалось странно новым, диковинным. На Волге бежал пароход. И из-за песен и тяжелого топота не было слышно его шума. Только бледнели огни.

— „Сами набьем мы патроны...“

Маша не знала этой песни. Она жадно ловила отдельные слова, повторяющиеся припевы и выкрикивала их...

Ей в темноте улыбнулся кто-то. Ее окружили кольцом. Кто-то взял ее под руку. И она не удивилась. Кто? В темноте она стала всматриваться. Блеснули чьи-то острые глаза.

— Федор. Ты?

— Да, я.

Когда вышли из-за утеса, увидели яркое зарево, стоявшее над городом. Тревожный набат несся навстречу толпе.

— Ура! К тюрьме, выручай!

И Маше казалось, что горячее море движется кругом и что она плавает в этом море. Вошли в улицы, и песня теперь стала как-будто громче и шаги тревожнее. Толпа будто выросла. Теперь пели во многих местах. Нестройно. Но все кругом двигалось, колыхалось, и вся улица была запружена черной могучей толпой.

Вдруг громкий треск раздался далеко впереди. Песня оборвалась.

— Что это? — раздались тревожные голоса.

— Стреляют! Держись, товарищи! — закричал пронзительный голос.

Все кругом смешалось. Толпа остановилась, бросилась к заборам. Машу прижали в какой-то угол. Выстрелы затрещали ближе. Навстречу толпе кто-то бежал.

— На мосту солдаты! Берегитесь!

Многие бросились убежать назад, к заводу. Мостовая стала пустеть. Темные фигуры замелькали на ней. Где-то впереди звенели стекла, разбитые ударом кола. Зарево красным столбом поднималось до неба, и в улицах было видно далеко. Вот вдали показались скачущие всадники. Все бросились враспынную. Маша, захваченная общей тревогой, тоже куда-то побежала, натыкаясь на заборы, торкалась в калитки, чтобы спрятаться во дворе. Но калитки все были заперты. Наконец, ей удалось перелезть через какой-то забор, потом через другой, через третий. Она попала в переулок и долго бежала по нему,



задыхающаяся, перепуганная до смерти. И опомнилась, когда увидела последние домики на окраинах города. Она оглянулась. Над городом стоял столб пламени—горели амбары недалеко от тюрьмы. Слышались выстрелы, набат, яростные крики и топот скачущих лошадей...

Только под утро Маша пришла на завод.

## VII

Движение так же быстро было сломлено, как быстро оно вспыхнуло. Больше двадцати человек было убито на улицах в ночной свалке. Главари были арестованы. Был арестован и Федор Лысяков. Всех их предавали военному суду. Те времена были суровы...

На заводе всем уменьшили плату, и рабочие покорно приняли это известие. Все трепетали от ужаса и молчали.

А та ночь положила странный отпечаток на душу Машеньки. Как-то все ей вдруг показалось маленьким и ненужным. И близкая свадьба не очень радовала. Какая-то тяжесть упала на жизнь и так давит, что, кажется, на свет бы не смотрел. И будто дым из заводских труб идет ленивее, чем прежде шел.

Вечерами, оставшись одна, она вспоминала, как в ту ночь шла с Федором, окруженная взволнованной толпой. И странно, она о чем-то плакала, как будто ее кто-то обманул. Пытливо присматривалась она к Павлу, словно впервые его видела. Кто он? Любит ли она его?

В конце августа, однажды вечером, возвращаясь с работы, она встретила молодого рабочего. Она знала его в лицо, но никогда не слышала его имени.

— Здравствуй, Маруся Грачева,—сказал он, улыбаясь.

— Здравствуй, коли не шутишь,—ответила Маша, принимая слова рабочего за обычную шутку.

Она хотела пройти мимо.

— Постой, у меня к тебе дело. Вот возьми,—сказал он, вытаскивая из кармана скомканную бумажку.

— Что это такое?

— Записка тебе из тюрьмы.

— От кого?

— Иль не догадаешься? От Федора Лысякова.

— Он? Как?.. Жив?

— Мертвый бы не писал. Пока жив, ну только... Он в первую голову пойдет под военный суд. Все говорят и сам он знает, не сдобровать ему. Да ты прочти, все узнаешь. А затем прощайте.

Он ушел. Маруся задрожавшими руками развернула записку и прочла каракульки:

„Сопчаю вам, что меня предали военному суду и будет смертная казнь. Все думаю про тебя, драгоценная Машенька. Кажну ночь ты перед глазами, как живая. Люблю я вас, люблю навек“.

Не дочитала записки Маша, заплакала. Пошла домой, и все как будто изменилось кругом: и Волга, и завод, и горы, и дорога. Она вспомнила задорное Федькино лицо, его глаза, всегда блестящие, белые зубы, его шутки...

Неужели смерть?

В этот вечер она ушла из дому, чтобы только не видеться с Павлом. Долго сидела одна в уголке у ограды. И мысли были непривычно мучительные, тяжкие. Хотелось вопить — просто упасть головой наземь и вопить, как вопят в деревне бабы по покойнику.

Но прошла ночь, день,—и внешне все пошло по-старому. Спокойная, крепкая мужичья натура взяла свое.

Ну что же, плачь, не плачь — дела не поправишь. Хоть головой о камень бейся.

Только суровее стала с Павлом.

— Тебя словно подменили,— смущенно говорил тот.

— Да, подменили,— вызывающе отвечала она.

И уже не говорила ни о тканном одеяле, ни о самоваре, ни о своей квартире. Записку Федора берегла. Читала часто. „Люблю навек“.

О, если бы вернулось назад время. Все бы можно было поправить. Вот оно, теперь ясно: Федор ей люб. Вот он желанный...

## VIII

За неделю до Покрова решили справить рукобитье: Павел потребовал. А Маша, равнодушная теперь ко всему, делала все, что хотел он. Суета иногда зажигала ее, но не надолго...

Рукобיתье справляли в просторной комнате у семейного соседа.

Величальными песнями оно началось. По старому обычаю прадедову, занесенному сюда, на завод „Цепь“ с его американскими вращающимися печами и полуночным светом, занесенному из деревень глухих, саратовских, где в людских душах еще бродят тени скифов. Величали князя Павла Петровича и молодую княгиню Марию Ефимовну.

Ни жива, ни мертва сидела Маша. Увяли розы на щеках. Ни кровинки в лице, ни искры в глазах. Господи, убежать бы отсюда!.. Но все исполняла она по-хорошему, по-уставному. И руку дала жениху нареченному и поклонилась ему трижды в пояс. А потом настал самый торжественный момент. Сирота она была, Машенька-то, — ни отца, ни матери. И подружки высокими голосами запели прощальную песню сироты-девушки:

Ой вы, девушки-подруженьки,  
Вы пойдите в церковь божию,  
Вы ударьте в громкий колокол,  
Разбудите моего батюшку,  
Вы пойдите на погост святой,  
Вы разбейте гробову доску,  
Разбудите мою матушку,  
Пусть поглянут они на меня, сироту...

Надрывно высокими голосами, рыдающими, пели они. Плакали бабы, что набились у притолки, подружки плакали. Даже Павел будто не таким самодовольным смотрел.

А Маша побелела вся и закаменела будто. Из полузакрытых глаз одна за другой побежали слезинки. И почудилось всем, вскочит сейчас, убежит она. Этакой судорогой дрожат у нее губы.

Куда? От волюшки девьей куда? К Павлу?..

Вдруг затопали в сенях чьи-то сильные ноги: топ-топ-топ, и дверь скрипнула. У притолки кто-то крикнул испуганно:

— Ай, батюшки!

Отодвинулись от двери бабы, девушки, и вот прямо перед столом, за которым сидели жених и невеста, встал высокий парень, остриженный наголо, в серой арестантской куртке.

— Федор, Федя, — крикнула Маша, протягивая к нему руки.

Тот схватил девушку, потянул к себе. Все видели, как его темные руки обвились вокруг талии белого Машина платья.

И, неловко шагая, молча, они вышли, Федор и Маша. И дверь не затворили, и в тишине было слышно, как шли они по коридору все дальше и дальше.

У заводских ворот стояла кучка каких-то людей. В полутьме голос взволнованно говорил:

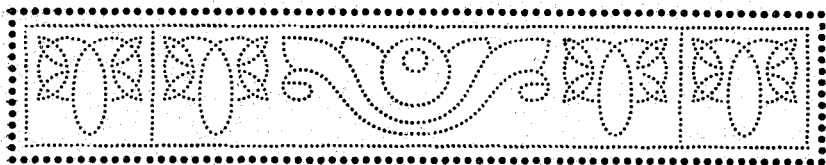
— Разгромили тюрьму, убежали.





С. В. Иванов

У ФАБРИКИ



Н. АШЕЦОВ

## У ЭШАФОТА

### I



ород остался позади. Исчезли улицы, и растаял их шум. Пропали огни и люди, изредка мелькавшие, как светлые и темные тени. Тьма сразу сгустилась над землею, сверху посыпались брызги холодной влаги, и ночная жуть пошла рядом с солдатами, медленно, неуклюже и вяло шагавшими по направлению к тюремному замку.

Солдаты сосредоточенно и злобно молчали. Ночная жуть вместе с брызгами холодной влаги уже властвовала над ними. Она проникала глубоко в душу, пронизывала ее острыми уколами страха и заставляла трусливые губы шептать то молитвы отчаяния, то безнадежную циничную ругань.

Солдаты приближались к замку, и темная площадь исчезала из глаз, а глаза пугливо приковывались к этим светящимся огням, мигавшим, как привидения, и рождавшим новую жуть. И солдаты шли еще более вяло. Ружья давили плечо, спина ныла, тупая боль расплывалась по всему телу. Ноги точно вязли в липкой, засасывающей грязи и тяжелели. Каменное чудовище, которое проглотило и каждый день поглощало сотни и тысячи живых существ, казалось, оживало и жадным многоокиим взором высматривало на площади новые жертвы, ему обреченные, и своими огненными глазами светилось хищною радостью.

Офицеры, ведшие роту и всю дорогу также молчавшие, не ускорили шагов при виде замка и продолжали уныло плестись, непрерывно куря папиросу за папиросой.

И вдруг чудовище с огненными глазами пропало. Солдаты вошли во двор, большой пустынный двор, и остановились.

Тихо.

Солдаты стояли тупо, с затуманенным сознанием, охваченные опять жутью, которая росла и ширилась, вырастала в мохнатого, диковинного зверя со скользкими, цепкими шупальцами, захватывавшими холодным, тугим кольцом сердце и впивавшимися в горло. Рос страх и заставлял говорить темноту и тишину. И что-то большое наполнило двор и вдруг неистово закричало.

Нечеловеческий, дикий, сдавленный крик зазвенел и рассыпался в воздухе и наполнил собою и невидное небо, и черную землю, и весь замок.

И оборвался.

И опять темнота и тишина обнялись и слились, а растерянные солдаты сбились в кучу и столпились у стены, ближе к дверям, за которыми были люди.

И от ворот пронесся шопот:

— О, господи, опять он...

Молчание.

Зачастил дождь и снова умолк.

Опять тихо звякнули кандалы.

— Акто он, дяденька? — раздалось тихо из солдатской кучи.

Голос от ворот молчал. Потом вспыхнул красный огонек, мелькнула черная борода, с нависшим над нею черным носом, и трубка, и опять прошуршал тихий вздох:

— О, господи!..

В солдатской куче задвигались.

— Целый день кричит... С утра. Душит его, значит. Чтой-то душит. Совесть... или душа тоскует: видно, не хочет с телом прощаться.

Молчание. Снова красная точка загорелась и исчезла.

— И то, мать не допустили. Тоже, ведь, мать — одна душа, одно тело. Ревела утресь у ворот, а начальник ее ногой: „родила, — говорит, — сволочь, так не к нам, а к богу обращайся“. А он, сын-то, чует, да как взвизгнет в камере... даже начальник шарахнулся, а мать обмерла. Увели ее. Так и не видала.

Из темного коридора забряцали шпоры, и солдаты, налезая друг на друга, как овцы, точно в забытии, как слепые, беспомощно затолклись на одном месте, не слушая обычной команды.

Порядок был восстановлен. Солдат отвели ближе к воротам. Замелькали новые огни. Надзиратели с ручными фонарями рассеялись по двору. Заплясали по темной земле тени, полосы света заструились и запрыгали в воздухе. Начальник тюрьмы хриплым, сорванным голосом отдавал какие-то приказания и суетился. Двор наполнился людьми и шумом.

И вдруг все столпились ближе к воротам, налево от них. Соединились фонари, поднялись руки, и дрожащий свет передвинулся выше.

У стены темного каменного забора что-то забелело. Свет неровными волнами колебался и бегал по забору. Руки, державшие фонари, дрожали. Мелькало в глазах и рябило. Но вот свет успокоился, и белое поднялось еще выше и сделалось еще белее.

Два толстых столба с перекладиной. На темной краске стены и под неровным светом фонарей они, казалось, качались. Совсем качели. На толстой перекладине весело болтались свежие, блестящие каплями дождя, упругие веревки. Совсем качели. Не было только детей.

А за столбами лежали мешки. Пустые мешки, брошенные в кучу, точно негодная ветошь.

— Хороша работа? — прохрипел начальник тюрьмы, обращаясь к офицерам.

Фонари опустились. Белые столбы потонули в темноте, остались видными только стойки снизу.

Лица офицеров ничего не выражали. Все на них застыло. Сначала с жадным любопытством они впились глазами в виселицу, а потом лица потускнели, пробежали по ним тени, исчезли, и холод сковал молодую и румяную кожу. Они отвернулись и вполголоса стали отдавать приказания.

Солдат разделили на две части и поставили по сторонам виселицы.

## II

Из города донесся чуть слышный бой церковных часов. С трудом добирался он к тюрьме, еле уловимый. Прошло два часа.

— Два часа, — заторопился и взволновался сторож. — Сейчас приедет. Утресь был. Нынче уж дважды ездит.



— Кто? — нервно спросил офицер.

— Степка, значит. Побежать, сказать...

Черная фигура, еще более сторбившись, мелькнула и покатила мимо солдат. Покатила, как черный клубок, оцетинившийся и колючий. И солдаты бессмысленными, широкими от ужаса глазами следили за ним, и покачивало их от страха.

Молчание. У дверей опять закопошилось что-то черное и задвигалось к воротам, и вслед за ним через ворота ворвался глухой стук колес, мягко касавшихся мерзлой земли, а сзади него плелся другой шум — резкий, тупо-металлический, дребезжащий.

Первую подъехала карета на резиновых шинах с ацетиленовыми фонарями, брызгавшими ослепительно-белым светом, и плавно вкатилась во двор. Отворились дверцы, и из кареты вышли: полицейский офицер, за ним темная фигура худого, низкого роста мужчины и двое городских...

И, выйдя из кареты, они остановились и все, точно по команде, обернулись к белым столбам и смотрели на них внимательно, долго. Теперь, под ярким ацетиленовым блеском, они сверкали каплями дождя нарядно-чистые, точно умытые.

Черный мужчина кивнул головой и быстрыми, мелкими шагами подошел к виселице, осторожно обошел ее со всех сторон, потом остановился, прикоснулся легко рукою к столбу, пощупал веревку и, точно про себя, негромко проговорил:

— Уголовные...

К нему быстро подкатился сторож в шубе и так же тихо ответил:

— Точно так, Степан Иваныч, уголовные... Долго фордыбачили... Говорят — не хотим быть палачами...

— И говорили еще, — продолжал сторож, — что вам, Степан Иваныч, надобно кишки выпустить. Начальник за это пять человек перепорол. А потом велел дать им водки в карцер. Дали. Здорово все перепились. Два раза подрались промеж себя, а потом пьяненькие, пошли лестницу строить.

— Сволочь! — процедил сквозь зубы Степан Иваныч.

— И мешки шить не хотели, а как новую бутылку принесли, и мешки сшили.

Степан Иваныч, закурив папироску, бросил сторожу отрывисто:

— Позвать помощников, — пошел к дверям тюрьмы.

А у ворот остановились в это время простые извозчичьи дрожки, и во двор вошел молодой рыжий священник, неся под мышкой крест и евангелие, завернутые в епитрахиль.

Священник входил несколько робко и смущенно, опустив голову. Он путался в рясе и поддерживал ее сбоку по-женски, еще более конфузясь от этого.

Степан Иваныч приостановился и резким, самоуверенным голосом крикнул:

— А! Отец Василий! Мое почтение-с! Как здоровьице? Опять у нас с вами работишка!

И когда священник приблизился к нему, Степан Иваныч подошел под благословение.

Священник благословил палача. Палач поцеловал руку священника...

И затем священник и палач пошли рядом и вместе подошли к дверям тюрьмы.

Священник с крестом и евангелием в руках и палач столкнулись в дверях плечо-о-плечо и вошли в них, точно обнявшись, как братья. Их скрыла тьма.

### III

Во дворе было слышно, как резко зазвонил в тюремной конторе телефон. И через минуту спокойствия выросло новое движение. Опять через дверь тюрьмы выплыли темные тени людей и светлые фонари, и говор, над которым плавал хрип начальника тюрьмы, усиливался.

— Сначала наших, — хрипел голос, — а потом, которых привезут. Через час они будут на месте. Живо! Степка, поторопись, каторжный!

Степан Иваныч вынырнул из толпы и с двумя помощниками быстро пошел к виселице.

Палач приосанился и, подымая худые плечи, старался быть выше ростом.

Теперь в нем чувствовалась самоуверенная гордость и наглая развязность. Движения сделались частые и резкие, голос — звонче.

Он отдавал приказания, а помощники его — два уголовных в казенных халатах — торопливо их исполняли. Принесли большой стол и поставили его между столбами. Принесли два табурета и поставили их к столу. Принесли большой кусок сырого мыла. Степан Иванович долго устанавливал стол, стараясь, чтобы он стоял прочно и чтобы перекладина проходила правильно над серединой стола. И впереди его плотно в землю вбил он и два табурета. Затем палач осмотрел мешки, встряхивая каждый из них, и снова бросил их в кучу.

Он делал мертвые петли из двух висевших уже веревок. Вертвики были мокры, но скользили в петле с трудом, и палач начал их намыливать. Мыло застыло в воздухе холодной ночи и окаменело. Напрасно старался палач согреть его в своих руках и размягчить: мыло оставалось твердым. Тогда Степан Иванович, цинично ругаясь, стал плевать на него, потом тереть о мокрую траву, кое-где росшую по углам двора, посылая проклятия жертвам, которым он готовил смерть.

И, не достигнув ничего в своих попытках сделать мыло мягким, палач вдруг остановил свой клокотавший поток грязи, расхохотался, быстро расстегнул брюки и начал мочиться на мыло, разминая его сильными пальцами.

— Го-го-го! — захохотали помощники, и этот смех подхватила толпа надзирателей. Засмеялись и солдаты. Офицеры отвернулись.

Смех сразу оборвался. Становилось слишком гнусно. Палач перешел меру даже здесь, в этой гнойной клоаке... И все затихло и перестали смотреть на маленького черного зверя, любовно копошившегося у виселицы.

Мертвые петли, сделавшиеся подвижными, были окончательно готовы. Помощники продели веревки через дугообразную скобу, прибитую к перекладинам, свободные их концы привязали к боковым столбам и в один голос крикнули:

— Готово!

— Готово! — повторил также палач, обращаясь к начальнику тюрьмы, и прибавил почтительно: — Стаканчик, ваше высочордие, как полагается по чину, по манифестации.

Начальник тюрьмы посмотрел на часы. Было без четверти три. В начале четвертого должны были привести еще двух приговоренных, — полковник засуетился.

— Живей, водки ему! И вести сюда № 117 и 202-й.

Надзиратели пошли, но на этот раз строго и спокойно, и медленно колебались их огни в темноте. Впереди их быстро прошли трое помощников начальника тюрьмы.

Спустилось на землю новое молчание, теперь сосредоточенное, почти торжественное.

Все сделались сразу серьезны, и по лицам у всех пошли и остановились темные тени.

Только палач пробовал было заговорить.

— Ну, и заорет же теперь тот рыжий малец из 117-го. Кликуша! „Руки вверх“ кричал, а теперь мамашкиной соски захотел.

Но все молчали, и эти слова упали на грязную землю, как лишняя грязь, ослизлым, гнойным комком, и пропали в молчащей темноте.

Принесли большой стакан водки. Палач порывисто схватил его и широким глотком проглотил сразу три четверти стакана. Вытер губы, сплюнул и, отдавая остаток надзирателю, засмеялся, скаля зубы:

— Побереги! Выпью ужю... после „дела“... Это, значит, осталось на заглядку.

И, не обращаясь уже ни к кому, продолжал:

— Вот две ночи не спал. Изустал. Только с устатку водкой и держисься. Трудно с революцией-то справляться.

#### IV

Сдержанный, осторожный шум наполнил двор, и опять замелькали огни. Но теперь они двигались правильными рядами, выстроенные в шеренги, как солдаты, и плавно колебались в туманном воздухе, еще более похолодевшем.

Впереди шли три помощника начальника тюрьмы, за ними надзиратели, окружавшие своими рядами, как густою цепью, фигуры двух очень молодых людей.

Все обернулись в их сторону.

Оба были в темном пальто, оба шли, держась прямо и просто, и оба не отрывали своих глаз от белых столбов.

Они были почти одинакового роста, одинакового возраста, юного, свежего почти зеленого. И упорный взгляд их разных глаз — у одного были светлые, прозрачно-голубые, у другого

жаркие, темные — был одинаково похоже напряженным, точно это были родные братья.

Надзиратели остановили их в трех шагах от виселицы и, спокойные и гордые, они обвели взором стоявших вокруг них людей.

— Господин пристав, приступите к исполнению своих обязанностей, — прохрипел голос начальника тюрьмы.

— Подождите! — вдруг звонко и взволнованно закричал Анатолий.

— Что угодно? — вежливо спросил начальник.

— Ведь мне обещали... мне сказали... я прошусь... с мамой. Мне прокурор говорил, что это — священное право приговоренного...

Он помолчал секунду, и, как ребенок, недоуменно и тоскливо-жалобно спросил:

— Где же моя мамуся?

И его светлые глаза заплакали, хотя лицо оставалось неподвижным.

— Вашу последнюю волю вы изволите сказать после чтения приговора, — отвечал начальник и снова обратился к полицейскому чиновнику:

— Господин пристав, приступите к исполнению своих обязанностей.

Полицейский офицер откашлялся и знаком приказал надзирателю поднять выше фонарь; вынул из кармана вчетверо сложенную бумагу, развернул ее и взволнованно громко стал читать:

„По указу его императорского величества... военно-полевой суд... в заседании... на основании ст. ст. приговорил сына коллежского регистратора Анатолия Моросина, 17 лет, и крестьянина Константина Варягина, 19 лет... к лишению всех прав состояния и смертной казни через повешение“.

— По закону, — продолжал полицейский офицер, — вы имеете право выразить предсмертное желание. Что вам угодно было сказать?

— Я хочу видеть мамусю, — затрепетал весь Анатолий, — мне прокурор обещал...

— Нам неизвестно об этом, — в один голос ответили начальник тюрьмы и полицейский офицер.

Анатолий вздрогнул.

— Знаете,— сказал он,— она у меня маленькая, сморщенная, сгорбленная... слабая и все задыхается... Она плачет... у нее от тоски удушье... у нее маленькая старушечья голова, которая раскалывается на куски... и вот эти куски летают... и они тут у меня... режут сердце...

Он провел рукой по груди и внозь вздрогнул, точно новая мысль ожгла его своей ясностью.

— Да, ведь, она была, она, мамуся, сегодня здесь. Утром была мамуся. Я чувствовал ее... Ведь, правда, была ?

Начальник тюрьмы холодно ответил:

— Никак нет!

— Но она была, я знаю.

Начальник тюрьмы выпрямился и, посмотрев на Варягина, жестко сказал:

— Это была их маменька... г-на Варягина!

Варягин стоял прямо и красиво смотрел на начальника своими жаркими глазами. Он смотрел и точно не слышал этих зловещих слов. Он был вне их. Он был уже вне мира.

И он сказал Анатолию тихо:

— Оставь их. Не бросай свои слова так низко...

Начальник тюрьмы наклонился к полицейскому офицеру и быстро зашептал:

— Разрешим ему написать.

Полицейский офицер кивнул головой.

— Хотя это незаконно,— отвечал начальник тюрьмы Анатолию, упорно глядевшему на него своими мокрыми, прозрачными глазами,— но так как произошло недоразумение, то мы вам можем разрешить написать матери несколько слов.

И начальник протянул Анатолию свою раскрытую записную книжку и карандаш.

— И я не увижу мамусю?.. Мамусю?..

Руки у него дрожали, и он стал чертить буквы по листку, и эти буквы прыгали и казались кусками расколовшейся от тоски головы матери...

Когда начальник обратился к другому приговоренному, Варягину,— юноше с жаркими глазами и светло-золотыми, почти рыжими волосами,— он, предупреждая вопросы, спокойно сказал:

— Кроме гордого презрения я ничего не чувствую. Делайте свое дело!..

И он быстро и ловко сбросил с себя пальто и шляпу и, худой и хрупкий, медленно выпрямился.

— Я готов и хочу умереть. Я отдаю свою голову великому восходящему солнцу.

К нему подошел священник.

— Не надо, не надо! Отойдите! В евангелии ясно сказано: „не убий“!

Священник молча отошел в сторону, и голова у него, молодого и высокого, тряслась, как у беспомощного старика.

Анатолий протянул книжку начальнику тюрьмы.

— Отдайте это маме!..

В книжке, кроме неоконченных и зачеркнутых фраз, было только два слова „люблю маму“.

И надзиратели тотчас подтолкнули обоих приговоренных к столу под виселицей.

Оба быстро встали на табуреты и одновременно взошли на эшафотный стол.

На головы обоих были наброшены небольшие мешки.

— И знаешь, Анатолий,— так же пламенно, но еще быстрее, шептал Варягин,— только сейчас у меня молния в голове. И молния мне осветила великую трагедию, которую я хотел бы создать. Я ее назвал бы „казнь бога“...

Палач подтянул веревки с одной и с другой стороны столбов и, привязав их к ним, вскочил на стол.

Анатолий сделал вдруг резкое движение и закричал, с бешеной быстротой выбрасывая слова:

— Солдаты! Я хотел народу и солдатам свободы! Палач! Есть стыд у тебя?..

Палач быстро набросил одному и другому петли на шею и, соскакивая со стола, заглушал уже своим острым голосом слова Анатолия.

— Ну, не разговаривай! Нас бог рассудит, а я вот покажу тебе сейчас, что такое революция! Покажу тебе, как я продевываю твое „руки вверх“!

Оба юноши, с мешками на головах, не видя друг друга, обнялись, и их уста, жаждавшие последнего, прощального поцелуя, целовали противный, грязный холст.

А палач, еще плотней закрепив узлы веревок на боковых столбах, закричал:

— Ну, подбодрись, смирно у меня!

И, относя назад правую ногу, он с хохотом гикнул:

— Ноги вверх!

И сильным ударом отбросил стол в сторону.

И сделалось тихо. В одно и то же время затрепетали их тела и судорожно закорчились, мотаясь по воздуху и извиваясь тонкими змеями, ища опоры и не находя ее, описывая круги и вздрагивая волнистыми конвульсиями.



П. Добрынин

КОШМАР

И сделалось еще тише. Потускнели огни; спустилась туманная ночь, колющее сделался острый холод. И люди вокруг стояли немые и чужие друг другу, каждый со своей одинокой и одичавшей душой, холодной и туманной, как ночь. И они молчали, потому что смерть есть великое молчание, которому покорны и Каины.

Выгнулись стройно и тонко юношеские тела в последний раз и замерли, точно тела гимнастов после смелого сальтомортале.

И в тишине вдруг что-то хряснуло. Лопнули шейные позвонки, и тела, после мгновенного легкого колебания, сделали еще длиннее и неподвижнее.



## V

К воротам тюрьмы подъехала карета, и начальник побежал навстречу... И дальше все пошло быстро. Быстро прочитал приговор полицейский офицер, не ожидая приказаний начальника тюрьмы. Быстро протянул священник крест, и так же быстро приговоренные, молча, отшатнулись от него и отрицательно покачали головами.

Они тоже были молоды,—худые, безусые, бледные мальчишки, с застывшими, апатичными лицами, выражавшими только одну мысль:

— Поскорее!..

И когда первого, названного в приговоре, спросили об его предсмертном желании, он, вместо ответа, неожиданно для всех и ловко вскочил на табурет, а затем на стол и, крикнув:

— Да здравствует свободный народ!—просунул голову в петлю, отбросил обеими ногами стол, и закорчился в предсмертных муках.

Все застыли от этой мгновенной быстроты, а второй приговоренный нервным сдавленным голосом уже кричал:

— Посмотрите, солдаты-товарищи, как нас вешают за вас... Оберните штыки на них!.. Мы не боимся их; мы привыкли умирать.

Растерявшийся было палач и его помощники быстро пришли в себя и поставили стол и табурет на место.

— Держи его за ноги!—крикнул палач, и его помощник крепко захватил в свои объятия ноги повесившегося и резко бившегося еще юноши и, прислонившись к нему всем телом, оттянул его от стола и держал его в таком положении, пока совершалась вторая казнь.

Но теперь не медлил уже и палач. Он резко подтолкнул приговоренного к табурету и, вскочив сам прямо на стол, поднял за воротник юношу и поставил его под петлю.

— Палач! Сегодня казнишь ты, завтра казнят тебя!—крикнул юноша.

Петля уже была на шее, но взбешенный этими словами палач быстро ударил три раза по лицу юношу и, забыв набросить на его голову саван, как камень, бросился на землю и нечеловеческим ударом сбил ногою стол, который отлетел далеко к черной стене.

— Бросай и ту сволочь!— крикнул он помощнику, державшему уже почти не конвульсировавшее тело в своих руках.

И оба юноши повисли свободно. И второй, затрепетав и извиваясь, точно он хотел обнять своего товарища, с которым не простился, широко и неровно закачался по воздуху, как громадный маятник от грубого удара. Он качался и ударялся о тело своего товарища, а товарищ вытянулся уже и оставался недвижим.

И вскоре недвижимы были оба.

А взбесившийся палач в животном гневе топал по земле,— и летели во все стороны комья грязи, и рычал его голос разрывающимся на части хохотом, и из хриплой гортани вырывались комья ругательств.

Доктор стоял вдали и следил по часам. Пятнадцать минут прошли теперь гораздо быстрее, и он дал знак начальнику тюрьмы.

— Вот тебе свобода!— злобно и хищно крикнул палач, перерезывая ножом первую веревку, и прибавил гнойно-гнусное ругательство.

Труп хлопнулся на землю.

— Вот тебе революция!— продолжал он также злобно и хищно, перерезывая вторую веревку, и прибавил еще более гнойную ругань.

Второй труп хлопнулся на землю.

Опять застучали колеса около ворот тюрьмы. Это подъехала телега, чтобы отвезти и бросить трупы в ямы за кладбищем—или... это подъехали новые жертвы для палача?

## VI

Солдаты возвращались в город. На горизонте таяла тьма, и улыбались уже светлые тени.

Дождь шел—редкий, жалобный, осенний дождь. И было холодно, и холодный ветер дул со светлеющего востока прямо в лицо солдат.

Они шли скорым шагом, готовые бежать. Площадь светела—никто не оборачивался на черный замок,—и вдали выползали очертания города. Он рос и возвышался, тихий и сонный город спокойной совести.

Солдаты шли скорым шагом, нетерпеливо следя за тем, как двигались к ним навстречу дома и улицы. Уютом веяло

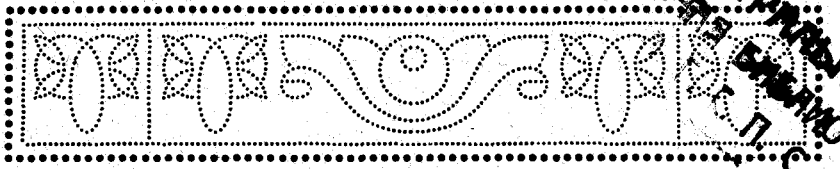
от них и теплотою. И хотелось бежать поскорее, чтобы поскорее достиг узких улиц и низких домов.

Офицеры шли рядом, молчали и курили. Они не знали, о чем думали солдаты, потому что солдаты сегодня впервые думали.

Город пахнул своим теплом. Потянулись узкие, а потом широкие улицы. Забелели вдали казармы.

Город спокойной совести тихо спал. Лишь не спали те, кто привык умирать.





Н. ЛЯШКО

## РАССКАЗ О КАНДАЛАХ

### I

**З**аковали Алексея Аниканова в старые, до блеска отшлифованные на чьих-то ногах, кандалы. Выкованы они были давно, на Кубани. Алексей узнал об этом в Сибири, в каторжной тюрьме. Во дворе его остановил старик-каторжанин, наклонился, ощупал кандалы и радостно воскликнул:

— Эх-а-а! Нашивал я их. По звону знал. Слышу, знакомое что-то. На Кубани, лет пятнадцать тому назад, таскал. Новенькие были еще, шершавые. До меня ими грузин один гремел. Удрал прямо из камеры, а их кинул. Тут меня осудили, стал я ими владать. А как погнали меня в каторжную, попарился я в одном месте в бане, намылил ноги, разодрал их в кровь, снял кандалы и полез под полук. Не один я—втроем улепетнули мы тогда. Эх, ягода-малина!

Воспоминания опьянили старика. Тускнеющие глаза засверкали месяцами сквозь мглу. Он подмигнул ими Алексею, потрепал его по плечу и добавил:

— Молодой ты, а кандалы на тебе счастливые! Понимаешь, счастливые?!...

Слух о том, что старик через пятнадцать лет по звону узнал свои цепи, проник во все камеры. Поверили ему не все, но старик рассеял сомнения: на кобылке кандалов сохранилась его метка.

Это выделило старика из массы каторжан и приковало внимание всех к кандалам. Кто их выдумал? Кто выковывает?

Арестантам, что в ротных мастерских делают кандалы, наручники, шьют смертные рубахи, каторга послала много проклятий. Часть каторжан крепче озлобилась и затосковала.

А иные содрогнулись, глянув правде в глаза: сами строим для себя тюрьмы, куем для себя цепи, заковываем себя в них, шьем для смертников рубахи, расстреливаем, вешаем себя. И все сами, сами...

## II

Письмо домой Алексей начал шуткой о том, что на нем счастливые кандалы. Написал несколько строчек и сорвался: письмо вышло горячим, терпким, и посылать его пришлось тайно, минуя контору тюрьмы.

Отец Алексея, Матвей, неразговорчивый, хмурый долбежник, раза три перечитал письмо и, выждав, пока уляжется в груди вызванная им щемящая тревога, пробормотал:

— Ну, ну... так...

Письма Алексею писал старший сын Матвея, котельщик Василий. Обыкновенно письмами Матвей не интересовался— все одно и то же: поклоны да поклоны,—но на этот раз сказал:

— Ты оставь там на листке место. Все пиши, как всегда, а от меня особо будет.

Василий написал о здоровье, о заводе, о знакомых и обернулся:

— Ну, чего писать-то?

Матвей встал, уперся широкими руками в стол и тихо, хрипло сказал:

— Напиши так: просит, мол, отец не бросать эти самые кандалы... Очень, мол, Алешка, просит он тебя схлопотать их или еще как... И прислать вроде на память ему,— мне, значит...

Над усатым и от глухоты удивленным лицом Василия собралась морщинка. Жена Матвея, невестка, дочь и семилетняя внучка вскинули глаза.

— И так горько, а ты подбавляешь,— печально вознегодовала жена.

— Клин-клином, мать, клин-клином,— пробормотал Матвей и, указав на письмо, строго сказал:— Пиши, чего глядишь?

И Василий написал.

## III

Кандалный срок был труден, но Алексей был бодр. Еще на суде, выслушав приговор, сказал себе: „Ну, держись, не ной, Алешка“. И сдержал слово: как ни было мучительно, помнил,

что ему лишь двадцать два года, что жизни у него впереди много. Помнил и другое, редкое в людях, драгоценное: тоской, слезами над собою жизни не сделаешь ярче, своих мук — легче, людей — счастливее. Наоборот, — других отравишь, а себя выжжешь и надломишь.

На каторге он держался так, будто его жизнь еще не начиналась, будто неволя и цепи — лишь только приготовления к ней.

Некоторые в камере чуяли: душа его радужится, подменяет то, что есть, тем, что должно быть, покрывает светом мечты жизнь с ее тяготами. грязью, и он идет по выбранной дороге, словно нет ни стен, ни решеток, словно ноги не скованы.

Мыслью он был на воле, с людьми, следил за собою и силился понять, не упадет ли под взятой ношей, не разобьется ли, не изменит ли, не распнет ли то, чему верит? И крепил себя, готовился.

С людьми был прям, откровенен, не выносил издевок начальника и надзирателей. Часто вспыхивал и часто сидел в карцере. Был бит, но незамиравшая в нем жизнь глушила боли, муки, и день выхода на поселение встретил его здоровым. Лицо было задернуто грязноватой бледностью, на висках сквозили жилки, но синева глаз блистала цветами на пустыре и свежо, обещающе переливалась.

В конторе, на последнем обыске, начальник тюрьмы спросил:

— Выдержал, Аниканов?

— Выдержал.

— Гляди, в другой раз не выдержишь.

— Выдержу и в другой раз.

Начальник вонзил в Алексея глаза, кивнул на выхлопотанные им, связанные кандалы и насмешливо спросил:

— Выдержишь? Со своими кандалами на каторгу придешь?

Не спасут...

— Я кандалы для образца беру, — глухо отозвался Алексей. — Займусь на воле кандалным делом: мало ли кому скоро понадобятся кандалы.

Начальник понял намек, сузил глаза, но спохватился и протянул:

— И то дело...

#### IV

Повестку Аникановым принесли в субботу. В воскресенье Василий сходил на почту и принес обшитый холстиной ящик: — От Алешки.

Домашние столпились к столу. Василий в спороде холстину, косарем снял с ящика крышку и из туго набитых пахучих столярных стружек вынул свазанные веревкой кандалы. Пальцы его соскальзывали с узлов. Кандалы шевелились под ослабленной веревкой клубком змей, выскользнули из нее и придушенно зазвенели. Из них вывалились выложенные хомутками кандалов, туго свернутые в трубку, кожаные подкандалники. Связаны они были мягким ремешком, что от кобылки шел к поясу и поддерживал на весу цепи.

— И как же... на ноги это?

Касались кандалов, поднимали их, разглядывали расширившимися глазами. Мать всхлипывала. Василия познабливало. Чтоб отогнать неловкость и тревогу, он порывисто взял кандалы и громко сказал:

— Вот так штука... Надо померять...

Разулся, надел на ноги хомутки и скрепил их проволочками. Холод железа от щиколок хлыпнул на икры, к груди и сжал сердце. Василий поймал непослушными руками кобылку, путаясь в цепях, неуклюже прошелся и чужим голосом сказал:

— Вот так Алешка щеголял в них. Балдеж, побей меня бог!

Выпрямился и остро почувствовал: если бы его заковали в кандалы, он завыл бы от страха... И, пряча это чувство, уронил:

— А в письмах писал, ничего, мол, хорошо все...

Скрипнула дверь. Матвей шагнул через порог, глянул на Василия и сердито сказал:

— Игрушку нашел? Сам нажил бы да и игрался...

Василий потупился, снял кандалы, положил их на стол и пробормотал:

— Была бы охота...

— Неохота? Знаешь только на работу, домой, нажрешься и дрыхнуть...

— А вам и его в Сибирь хочется угнать? — обиделась невестка. — Хватит и одного, за всех отстрадает...

Матвей скосил на нее глаза, кинул:

— Сама знаешь, чего хочу,—и подошел к столу.

Щупал звенья, шевелил их, сдвигал и раздвигал хомутки. Расправил подкандальники, поводил пальцами по выдавленным хомутками желобкам и замер. Слова оправившегося Василия раздражали его. Большой, сильный, покладистый, вечно сонный, он казался Матвеем деревянным. Не чета Алешке. Тот учился, сам до всего доходил. Того в праздник за посылкой не пошлешь,— с утра уходил, а возвращался к ночи. Читал всем вслух. Эх...

Суд над Алешкой, угон его на каторгу посеребрили голову Матвея, раздвинули до ушей лысину и разворошили в сердце полымя. Жалко, до слез было жалко, но полымя сводило челюсти и сжигало слова жалобы,—пусть. Газету, в которой была напечатана речь сына на суде, Матвей хранил и, когда в доме было пусто, читал ее.

Трогая кандалы, представлял, как они давили молодые ноги. Алешка рисовался крошечным, заморенным неволей, маленьким от боли. Только крепится.

Прижать бы его, поносить, пройтись пальцами по его ребрам, чтоб звенел он смехом и хватался за бороду.

Весь день Матвей был молчалив и хмур. Лишь вечером улыбнулся жене и сказал:

— Так-то, мать...

— Что ты?

— А ничего... я все об Алешке...

— А-а,—отозвалась жена и вскрикнула,

— Ну, ну, экая ты, право, слезливая...

На следующий день Матвей в обед принес с работы кусок пропитанной олеонафтом пакли, смазал ею кандалы, сложил их в ящик и поставил к книгам Алешки на этажерку.



Н. Пирогов

ПРИГОВОРЕННЫЙ



## V

На заводе о кандалах узнали от Василия. Соседи по станку и знакомые просили Матвея принести их в мастерскую. Пожилые просили спокойно, молодые — с жаром. Матвей все отнекивался:

— Чего их глядеть?.. не стоит, — но в конце лета уступил: — Принесу уже на молебен, погодите...

Главной мастерской была сборочная. В ней строились паровозы. Огромная, в три пролета, с рельсовыми путями, с похожим на летящего кондора электрическим краном. Три полосы слюдистой от солнца и непогоды стеклянной крыши накрывали шеренги станков — от болторезок до валовых, — ряды крыльями раскинувшихся верстаков, разметочные плиты, цепи козел с паровозными частями и замкнутую сетчатой перегородкой инструментальную.

В рабочую пору в ней голубыми муравьями шевелились и сновали слесаря, токаря, строгальщики, долбежники, разметчики. Ватагами шастали чернорабочие.

Кондор с грохотом и треском плавал взад и вперед, сверкал искрами, шевелил кольчатой стальной лапой и на блестящем крюке, сжатом когтями, носил бандажи, болванки и рамы. Прибой звуков трепетал, ширился.

Золотой трещащей мошкарой из-под резцов летела медь. Железо змеилось серебром. Чугун падал пепельными хлопьями. Постели строгальных станков покряхтывали под стальными зубами. Размеренно вонзались клыки долбежных станков. Цикадами трещали собачки самоходов. Молотки надали на зубила, заклепки, оправки, керны. Придушенным барабанным рокотом на полу стлался говор шестерен.

А выше, в объятьях кронштейнов, пели валы. Ремни шелестели, шушукались и бойко хлестали по шкивам концами вшивальников. Из водянок на резцы падали капли перламутра, и к трансмиссиям плыли пропитанные железом струи пара. Каменные точила с зыком лизали сталь, а наждачные с визгом кидали снопы звезд.

Над главными воротами мастерской, изнутри, висела икона: голубое небо, серые облака и на них богородица с узорчатым покровом. День Покрова был самым торжественным заводским праздником. Накануне его Матвей из года в год ходил на кладбище

косить отаву, в лес — рубить ветки. Мыл икону, чистил лампадку и помогал украшать сборочную зеленью.

## VI

Первое октября было сродни арбузному соку — ясное, бодрое, пахучее. Из-за завода тянуло жухнувшими травами, бурьяном. Но самым ярким были неприметный ветер и паутины. Паутин было много, — разные, на разной высоте плыли за ветром сорванными с кораблей снастями и искрились.

Сборочная пестрела раззолоченными и окровавленными осенью ветками. От собираемого паровоза по барьеру пахнущего лесом помоста тянулась боровиновая кудрявая змея с вплетенными осенними цветами. Против покрытого парчей стола края ее смыкались и огибали кольцо икону.

Из боковых пролетов зевами станин, глазами патронов глядели вычищенные, пахнущие скипидаром и смазанные янтарным олеонафтом станки. Плиты и крайние верстаки пестрели рубахами, платьями, платками и шляпами. Священники и дьякона разными голосами молили снятую со стены, сидящую на облаках богородицу укрыть всех от горя и напастей покровом.

На молебне было много ценителей пения, и хор — а в нем пели и рабочие — старался, был возбужден. Раскаты его бились в крылья немого кондора, в стеклянные крыши, рокотали за толпою. Ряды станков, углы, переплеты стропил откликались органом.

При громовых раскатах многолетия даже станки, казалось, стали на цыпочки, чтоб видеть побагровевшего дьякона и неистовствующий, готовый изойти звуками хор. С кропила на необшитый паровоз, на его строителей стаями ринулись холодные брызги.

Начальники мастерских, инженеры, мастера, заспешили к директору. Он сверкал булавкой, блистал бельем, пробормотал кивал головою, принимая поздравления, и обнажал зачерненные табаком зубы. Помощники мастеров, чертежники, техники, монтеры и бригадиры не смели подходить к нему, но тянулись ему на глаза, по несколько раз кланялись, ловили его слова, передавали их друг другу и старались не замечать насмешек и взглядов рабочих.

Толпа спотыкалась о железо, чугун и балки, плыла ко кресту, евангелию и иконе. Гости, женщины и дети рассыпались по мастерской и оглядывали станки. Хор умолк...

Торжество сборочной, как-будто, кончилось. И вдруг гул голосов разрезал лязг. В сборочной ничто так не звенело. Многие обернулись. У крайнего строгального станка, вокруг Матвея с кандалами, росла толпа. Все тянулись к кандалам, трогали их, оглядывали, звонили в звенья, определяли, из чего они выкованы, и дивились тому, что они так отшлифовались на ногах. Толпа росла быстро и бурлила. Сзади кто-то крикнул:

— Эй! Стань-ка на станок и покажи всем!!

Державший кандалы токарь очутился на станине, точно кадиллом, взмахнул кандалами и отчетливо сказал:

— Вот! Кандалы токаря нашего цеха Алексея Аниканова. На каторге носил он их за наше дело. На поселении теперь. Может, вернется скоро... Вернется, поняли?!

Еще раз тряхнул кандалами и прыгнул в гудевшую толпу. От размахивающего руками директора отделился заведующий проходной конторой и ринулся к станкам:

— Посторонитесь! Кто говорил? Что показывал? Кандалы? Какие кандалы? Что еще за чертовщина! Какого Аниканова?

Токарь вырвал из рук Матвея кандалы и передал их соседу.

— Дальше, своим...

Они юркнули из рук в руки и, позвенев в глубине толпы, скользнули под синюю косоворотку, к горячему молодому телу, и смолкли.

— Кто Аниканов? Ты?

— Я.

— Ты что тут показывал?

— Кандалы сына.

— Какого сына?

— Что на каторге.

— А-а, где же кандалы?

Матвей в упор глянул на заведующего проходной конторой, пожевал ртом и сказал:

— Уплыли.

— Куда уплыли?

— Куда надо.

- Куда надо? Смотри, старик, туда ли?
- Слепнуть стал от смотренья.
- Ты что этим хочешь сказать?
- Ничего.
- Ничего? Ораторствовать вздумал? Забыл? Расходитесь! Толпа нехотя двинулась к выходу.

## VII

Токаря, что показывал кандалы со станка, в полночь увели в тюрьму. У Аникановых с полуночи до рассвета звенели шпоры. Бритые, усатые рылись в вещах, заглядывали в печь, на чердак лазили, ходили в сарай, с фонарем осматривали в садике землю и приподнимали в кухне половицы. Матвею опротивело это, и он сказал:

- Кандалов в доме нету.
- Перестали искать, обрадовались:
- А где же они? У кого?
- Не скажу.
- Ты должен сказать...
- Не скажу...

Хмурились, ворчали, грозили, но ушли с пустыми руками. Заводские ищейки с утра начали приглядывать за Матвеем. Мастер сказал ему:

— Вот уж, Аниканов, не ожидал я этого от тебя... Напрасно, право... Не идет к тебе, стар...

Матвей подумал, что в работе допустил ошибку, и забормотал:

- Я что... я делал честь-честью... как в чертеже...
- Кандалы в чертеже, голубчик, не значатся, хе-хе-хе... Зачем ты вчера принес их? Эх, голова. Люди помолиться сошлись, а ты с кандалами к нам.

В глазах Матвея потускнело, мастер стал серым, мастерская багровой и зыблящейся.

— Я не выдумывал их и не делал,— сдержанно заговорил он.— Выдумали другие... и заковыывают людей... я и принес, чего мне прятаться-то?..

— А зачем же все-таки спрятал их. Ведь, не нашли их у тебя...

Матвей настороженно глянул на мастера. „Знает уже, входит в шайку-лейку“— и громко сказал:

— За тридцать замков запроу, в землю зарюю.

— Нашел золото.

— Дороже золота. Вот вашего сына закуют, узнаете, какие они...

— Ну, ну, куда хватил.

— Сами вы затеяли разговор этот. А зарекаться и вам нечего: по одной земле ходим...

Мастер мотнул головой и отошел.

Во всех мастерских завода в этот день говорили о кандалах, о вчерашнем случае с ними, об аресте и обыске. Матвей устал рассказывать, как было дело, и отмахивался от любопытных:

— Как да как? Обыщут тебя, сам узнаешь.

После шабаша, в переулке, его догнал парень из сборочной, сказал, у кого хранятся кандалы, и передал собранные для Алексея деньги. Матвея смутило и обрадовало это. Он забормотал о том, что он не нищий и сам поддержит сына, но тут же и сдался. Заблестал глазами, заговорил о своей радости и на прощанье весело сказал:

— А кандалы на всякий раз получше хорони, а то беда тебе будет. Не гляди, что стар,—волью...

— Не придется, сохраним...

Матвей с минуту глядел от ворот на удаляющегося парня и думал: „Вспомниди... ишь ты... та-а-ак... давно бы надо“...

## VIII

Второй раз кандалы зазвенели в заводской столовой, под новый год. Было людно. Играл рабочий оркестр. В разгар веселья из толпы, запрудившей дверь из коридора, выскользнули ряженные — каторжанин в кандалах Алексея и каторжанка в холщевой юбке и бушлатке. Подали друг другу руки, проворно врезались в сорок танцующих пар и оглушили их звоном. Пары разъединились и застыли. Из коридора и буфета все ринулись в зал. Оркестр сбился и умолк.

Тысячи глаз жадно следили за парой с оранжевыми тузами и буквами „А. К. Т.“ на спинах. Она описала через весь зал звено и понеслась к двери.

Толпа проглотила ее. Свет мгновенно погас, и во тьму от стен хлынул торопливо усиливающийся бумажный шум. Что-то взлетало, падало и с шуршаньем распластывалось на полу.

Шум резнули крики испуга. Но свет вспыхнул и смял их. Глаза растерянно забегали по сторонам и впились в свернутые треугольниками листы бумаги, тучей белых голубей лежавшие на полу.

Оцепенело глядели на них и не понимали. Но звонкий голос назвал их по имени:

— Прокламации! — и руки толпами ринулись со всех сторон к полу:

— Дай сюда! Пстой! По одной, по одной, чтоб всем хватило.

Топот, крики, хруст сгибаемых спин. И вновь пол был сер, блестел следами каблуков, розовел и голубел волокнами смятых и разорванных лент серпантина.

Взвился крик распорядителя. Грянул оркестр. Закружились пары. И многим казалось, что каторжанина, каторжанки и внезапной тьмы, испуга и голубей не было. Они — сон, бред...

А в проходной конторе у телефона стоял человек и кричал в трубку:

— Надо оцепить столовку и обыскать всех! Обнаглели!

У подъезда, в коридоре сновали заводские ищейки, заговаривали, притворялись веселыми, восхищались. Сверлили взглядами лица, заглядывали в зал, но видели лишь кружащиеся пары.

Молодые глаза скользили по растерянным лицам и со смехом говорили: „Знаем, мы все знаем... это мы, мы“.

Робкие хмурились и ворчали:

— И повеселиться не дадут...

— Не дадим, не дадим...

И в молодом смехе, в звуках оркестра слышалась путающаяся в ногах, придушенная порывами, знобящая песня цепей:

— Бряц-бряц-бряц...

## IX

Письмо о случившемся на заводе в день Покрова взволновало Алексея. Он много думал об отце, предостерегал, ворчал, бранил его и книжки, был, как-будто, недоволен, скуп на слова с ним, а теперь встряхнулся...

Но после письма о новогодней вечеринке, о пляске в его кандалах, об обысках и арестах, он думал не об отце, — о песне своих кандалов на воле. Он на поселении, полусвободный, а они там, на воле, поют о муках, о болях, о свободе... Зовут, мятежат, настораживают...

В их песне было острое, укоряющее:

— Вставай, будет коротать дни...

...Весною, когда на заводе готовились к маевке, Аника-новы узнали: Алексей бежал с поселения. В дом вошло напряжение и, как перед судом, сжало его. Все стали сдержаннее; говорили тише; по вечерам настораживались. Ночью долетавший с улицы шум задерживал дыхание и заставлял долго, напряженно ждать стука в окно.

„Не поймали ли где... бить будут“, зудила мысль. Матвей подыскал на слободке приют сыну и все чаще с нетерпением подходил к станкам и тискам молодых:

— Ну, не слышно ли чего?

В половине мая, во время работы, ему подали записку и шепнули:

— От сына.

Он дернул привод, глянул на записку и кинулся от станка. Почудилось, записка из тюрьмы: „Поймали, поймали дьяволы“. Матвей долго ходил по двору, по мастерским. Умаявшись, ринулся за малярный цех, сел в бурьян, вскрыл записку и засмеялся. Алешка был на воле, далеко, работал на заводе.

„Молодец“, похвалил его Матвей и заблистал глазами.

## Х

Кандалы хранились с нелегальщиной, но о них вспоминали все: темные и забитые — со страхом, враги — со злобой, друзья — с любовью. И в проходной конторе завода, и в сыскном, и в жандармском не забывали о них. Ни один обыск не обходился без упоминаний о них: где они? Кто танцевал в них под новый год?

По заводу пошел слух, что несколько каторжан из своих кандалов сделали чернильный прибор любимому писателю. Появился номер газеты с письмом писателя к каторжанам и переходил из цеха в цех, из рук в руки, пока не превратился в замасленную паутину.

Молодых это взволновало и сбilo с толку. Они заговорили о кандалах Алексея и решили сделать из них подарок самому известному французскому социалисту. Мечтали приковать к этому подарку внимание рабочих всех стран. Начали

чертежи чертить, но Матвей проведал об их затее, обозвал их молокососами и стыдил:

— У меня спрашивали? Или старики не в счет? Ну, а у Алешки спрашивали? Молодой он и хозяин, будто, кандалам? Эх, вы-ы!.. Свои наживите да и мастрячьте, что в голову влезет, а распоряжаться чужими — плевое дело. Ветер у вас в головах, неprovорот зеленый...

Молодые не ждали такой отповеди, но сознались — прав Матвей: не чужие — свои кандалы, не чужие — свои муки надо научиться превращать в игрушки. Чужие — знамя, пример.

И остались кандалы на чердаке, в соломе крыши. Грянувшие война, мобилизации надолго лишили их места. Из домика в домик, из угла в угол переходили они, пока на заводе не объявился предатель — свой же, начитанный, сидевший в тюрьме, строгальщик.

Выдавал он осторожно, редко. А как сменили места явок, собраний, да перестали говорить с ним и здороваться, ошетинился. Все чаще уводили людей в неволю. Обыскивали почти всех, о ком знал что-либо предатель. Были и у Матвея. Спрашивали о кандалах и сыне. Грозили найти их и вновь закопать сына.

„Врете, не будет этого“, решил Матвей и на другой же день сходил на слободку за кандалами. Положил их в кошелку, прикрыл и понес к крестному отцу Алешки, маляру Панову:

— Схорони подарок крестника, а то сгинет. Ишь, до чего дошло у нас: своему брату верить страшно. Схоронишь?

Панов чинил ведро и ответил не сразу... Это кольнуло Матвея.

— Не бойся, — хмуро сказал он, — тебя обыскивать не придут. А ежели придут, вали на меня: Аниканов, мол, на сохранение дал... А я, мол, не при чем... Отказать не мог... Я не отопрусь...

Панов отодвинул ведро, метнул в Матвея стареющими глазами и сердито оборвал его:

— Ну, уж это ты оставь. Не от тебя бы слушать. Хоть и родичи мы, а без подлостей можно бы... Не боюсь я, хоть и думаешь ты, что боюсь... И понимаю... А что молчу, так обижать меня не гоже... Да, да, не гоже... Не первый день знаешь меня... И мне Алешка не чужой — сын...



Таким Панова Матвей видел впервые. Растерялся и по-стариковски, просто попросил прощения... За столом сидели долго, говорили душевно, и Матвей вышел на улицу свежим, легким.

## XI

Панов кандалы хранил до революции.

Первые вести о свободе у Аникановых были встречены радостными слезами матери:

— Неужто мучениями моим конец? А я уж думала, не дождусь, не увижу...

Матвей с работы в толпе пошел в город. Над ним маком горело одно из наспех сшитых знамен. Новое, огромное, яркое. Рядом с ним таким маленьким было старое, лежавшее в подполье, знамя... И оно дождалось, расправляло выдавленные неволей рубцы. Весенний ветер полоскал его.

Матвей помогал разоружать. Был в сыскном, у тюрьмы. Целовался с политическими. Ночью с неуклюжим бульдогом дежурил на перекрестке, перекликался. Забыл, что ему больше пятидесяти лет, горел, суетился, но не верил, что свобода пришла, боялся, что ее вновь расстреляют. Остро вглядывался в каждого солдата и сжимал челюсти.

Клятвы воинских частей в лесу знамен растопили в нем ледок. Он с площади пошел к Панову, поздравил его и взял кандалы. Открыто нес их по улице, показывал прохожим. Дома повесил их над портретом седого бородатого ученого и сказал:

— Баста прятаться, и вам свобода вышла.

Глянул на ждавших его к столу домашних и весело добавил:

— Кажется, бог даст и нашему теляти волка поймати.

С этого дня к Аникановым стали тянуться и чужие. Взрослые заходили по одиночке, молодежь стаями. Здоровались и спрашивали:

— Можно?

— Можно, можно...

Подходили к портрету, раздумчиво глядели на кандалы, как бы впитывали идущее из звеньев, и запоминали их.

В рабочую пору, когда в доме оставались мать да внучка, прибежали дети, стучались и долго звенели в коридоре голосами.

— Пусти, тетенька, поглядеть...

Гурьбой катились через порог, горящими глазами впились в кандалы, в портрет и перешептывались. Осмелев, протягивали руки, осторожно, потом все смелее трогали звенья...  
Мать шикала на них:

— Кш... проказники, забаву нашли,— и открывали дверь:—  
Будет, уходите.

Соседи шутили над нею и Матвеем:

— У вас теперь вроде часовня какая...

Она отмалчивалась, а Матвей с улыбкой говорил:

— Пускай глядят. Вот приедет сын, распорядится.



~~44359~~

МИЛОСЛОВИЦЕ

А О В

5999.

## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
И. Рабинович.—Предисловие . . . . .	7
✓ Максим Горький.—Девятое Января 1905 года . . . . .	9
✓ С. Кондурушкин.—В губернском городе . . . . .	23
✓ Жюль Ромен.—Девятое Января . . . . .	38
✓ О. Давыдова.—Первый день . . . . .	47
✓ А. Серафимович.—У обрыва . . . . .	54
✓ С. Васильченко.—Первая прокламация . . . . .	63
✓ И. Данилин.—Михей . . . . .	74
✓ С. Черкасенко.—Сашка . . . . .	86
✓ Г. Шенгели.—Броненосец „Потемкин“ . . . . .	90
✓ А. Федоров.—Легенда Свободы . . . . .	109
✓ А. Куприн.—Пылающий крейсер . . . . .	115
✓ В. Дмитриева.—Горит Россия . . . . .	120
✓ Н. Серафимович.—Похоронный марш . . . . .	137
✓ А. Яковлев.—Порывы . . . . .	143
✓ Н. Ашешов.—У эшафота . . . . .	161
✓ Н. Ляшко.—Рассказ о кандалах . . . . .	175

## РИСУНКИ

	Стр.
В. Серов.—„Солдатики, brave ребяташки, где ваша слава?“ . . . . .	14
Пчелин.—9 Января . . . . .	22
И. Фешин.—Полная победа . . . . .	33
Н. Верхотуров.—Рассказ очевидца . . . . .	39
Я. Чахров.—Москва. Пресня. 1905 г. . . . .	59
Б. Владимирский.—Рабочие . . . . .	71
С. Иванов.—Едут... . . . . .	87
С. И. Иванов.—Эпизод из 1905 г. . . . .	107
Б. Кустодиев.—Вступление . . . . .	118
Деттман.—Красный набат . . . . .	133
С. В. Иванов.—У фабрики . . . . .	159
П. Добрынин.—Кошмар . . . . .	171
Н. Пирогов.—Приговоренный . . . . .	179

**ЦЕНТРАЛЬНАЯ  
РАБОЧАЯ БИБЛИОТЕКА  
О. Г. С. П. С.**

1069

1069

НБ ПНУС



5999